

Вещь

1/2010

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Молодая поэзия Перми

Проза

Наталья Сова

Сергей Стаканов

Семен Ваксман

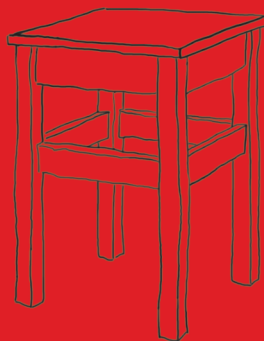
Драматургия

Любовь Мульменко

Интервью

Алексей Решетов

Поэтический видеоарт



Вещь

1/2010

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ



ПЕРМЬ 2010

Содержание

- 3 **Предисловие**
- 4 **Наталья Сова**
Когда звезды не жмурятся; Мама (два рассказа)
- 8 **Дарья Тамирова, Иван Козлов, Владимир Кочнев,
Алексей Евстратов, Анна Пепеляева, Антон Бахарев-Чернёнок**
Мой беззащитный мир (стихи)
- 26 **Молодая поэзия Перми: Опрос**
- 28 **Роман Мамонтов**
Лесопильня.ги (маленькая повесть о счастливых людях)
- 39 **Владислав Дрожащих**
Земская неделя (Лириэпос, III)
- 56 *Земская неделя: спустя 24 года (автокомментарии)*
- 59 **Сергей Стаканов**
Оставь красоту нетронутой (короткая проза)
- 62 **Любовь Мульменко**
Алкогольные новеллы (пьеса)
- 68 **Семен Ваксман**
Протон — падающая звезда (глава из романа)
- 78 **Михаил Левин**
Последние стихи (интервью с Алексеем Решетовым)
- 82 **Роберт Белов**
Первая смерть (рассказ)
- 91 **Владимир Абашев**
Раскованный голос (Всеволодо-Вильва в судьбе Бориса Пастернака)
- 110 **Марта Пакните**
Илья Рангулов: В кадрах должна быть рифма (разговор о поэтическом видеоарте)
- 113 **Владимир Пирожников, Мария Курочкина,
Татьяна Наумова, Ирина Артемова, Александр Бабушкин**
Рецензии («Хребет России», «Контрафакт», «Луна сломалась», «Времена», «Печерский тракт»)
- 121 **Авторы номера**

Предисловие

Простые и сложные вещи

У этого проекта были все шансы не состояться. В Перми никогда не было периодического литературного журнала. Альманахи и сборники — не в счет. Поскольку никто не знал, выйдет ли следующий, одни и те же имена (хорошие!) десятилетиями кочевали из издания в издание. Альманахи превращались в капсулу с посланием потомкам. Пермская литература жила ожиданием будущего.

Задача журнала «Вещь» — стать работающим драйвером здесь и сейчас, который бы запустил живой литературный процесс. «Открытием» журнал можно назвать лишь в той мере, насколько нова пермская литература и ее лица, импортированные редакцией из виртуальной реальности рукописей в жесткую полиграфическую версию.

Первый номер посвящен Перми, а точнее, самоощущению пишущего, находящегося, если верить классикам, в «странном месте». Его сейсмической чувствительности к хтоническим толчкам и гулам Перми. В текстах это самоощущение то сжимается до сингулярного состояния экзистенции, то проецируется на бесконечность. Совокупность сделанных замеров придает получившейся картине эффект стереоскопии.

Важно: в первом номере мы пытались сохранить баланс духоподъемного оптимизма и социального эксгибиционизма. Лирики и эпика. Традиции и эксперимента. Простого и сложного.

Редакция

Пермь текст
гул ХТОНЬ
вещь стерео

Наталия Сова

Когда звезды не жмурятся

Данька любил зиму. За Новый год, петарды и снегокат. И еще за то, что зимой по вечерам видны звезды. Если с разбегу кувыркнешься в сугроб и вдруг увидишь их — весь мир на короткое время замирает, двор делается маленьким-маленьким, а пространство неба — глубоким и беспредельным. И оттуда, из беспредельности, прямо на тебя смотрят звезды.

Данька уже знал созвездия: уверенно мог показать Большую Медведицу, Кассиопею и Орион. Кассиопея была похожа на букву «М», у которой разъехались в стороны ножки. Орион узнавался по трем звездам, выстроенным в ряд. А Большая Медведица напоминала ковш с изогнутой ручкой. Все это показал Даньке дедушка, когда по вечерам забирал его с тренировок по легкой атлетике. Они сворачивали в неосвещенный тихий двор, дедушка останавливался и поднимал голову к небу. Данька тоже поднимал. Они стояли молча, и Данька знал, что у дедушки при виде звезд так же замирает сердце, как у него самого.

Но, узнав имена созвездий, стоять молча Данька уже не мог.

— Пояс Ориона, — важно сказал он дедушке, указывая на три звезды низко над крышами.

— Правильно, — ответил дедушка. — А где Большая Медведица?

Данька поискал и нашел.

— А недалеко от нее — смотри — Малая Медведица, — добавил дедушка. — И Полярная звезда. Где Полярная звезда, там север.

— Большую вижу, Малую нет, — признался Данька, глядя в небо. Там тускло светились небольшие разрозненные звездочки и никак не складывались в созвездие.

Дедушка стал показывать — серьезно и обстоятельно. Данька тоже умел быть серьезным, но недолго. Поэтому он начал кричать, подпрыгивать и тыкать пальцем в небо:

— Там Полярная звезда, там север! Север над нами! Север над нами!

Дедушка только усмехнулся снисходительно.

— Вообще-то Пермь — не место для наблюдений, — сказал он. — В городе звезды жмурятся.

— Это как? — быстро спросил Данька.

— Если тебе в лицо направить яркий-яркий свет, ты что сделаешь? Правильно, закроешь глаза. А теперь представь себе: огромный город светит множеством ярких огней прямо в космос. Вот звезды и жмурятся.

— Все понятно. Малая Медведица зажмуренная, поэтому я ее и не вижу.

— Точно, — сказал дедушка.

Когда он пришли домой, мама уже вернулась с работы. Данька тут же сообщил ей главную новость: звезды жмурятся от городских фонарей, поэтому их так плохо видно.

Мама покачала головой и укоризненно сказала дедушке:

— Ну зачем сбивать ребенка с толку... есть же более понятные объяснения...

— По-моему, он прекрасно все понял, — возразил дедушка и подмигнул Даньке. И Данька ему подмигнул.

Наступила весна. Сугробы осели. Снег во всем городе стремительно таял. Все твердое под ногами стало жидким, все шершавое — скользким, все белое — серым, коричневым и черным. Дни стали длиннее, и по вечерам уже не видно было звезд. А потом пришло лето — яркое, пыльное и жаркое. Лето Данька тоже любил. За открытые окна, тополинный пух и футбол.

В конце лета произошло событие: мама и папа взяли Даньку в поход. Поход назывался «семейный». Кроме взрослых там была белобрысая вертлявая девчонка и два малыша-карапуза. Один из малышей все время ревел. Девчонка шла рядом с мамой, глупо хихикала и разговаривать не собиралась. Данька затосковал.

К вечеру, когда на поляне поставили палатки и развели костер, он окончательно понял, что хочет домой. Взрослые пели под гитару, малыши уже спали, а девчонка пряталась где-то. Данька отошел от костра, чтобы никого не видеть, и заметил за палатками светлый силуэт. Кто-то стоял по пояс в высокой траве и смотрел в небо. Это оказалась та самая девчонка — светлые хвостики, белый спортивный костюм. На Даньку она не обратила внимания. Медленно подняла руки, будто готовилась взлететь. Данька взглянул туда, куда смотрела она, и замер.

Небо сияло. Столько звезд Данька не видел нигде и никогда. Огромные, яркие мерцали они над лесом, близко-близко к земле. В глубине неба россыпью сияли светила поменьше, а еще дальше светилась тончайшая звездная пыль.

— О-о... — выдохнул Данька.

Он даже не пытался найти знакомые очертания созвездий. Сейчас ему было все равно, как называются отдельные звезды и как они расположены. А небо смотрело на него с таким же восторгом, как он на небо.

Звезды словно коснулись его своими лучами — коснулись лица и глаз, и плеч. И было так, будто звезды — друзья, с которыми он давно не виделся. Теперь они встретились. И звездное небо обняло его.

— Даниил! Вера! — донеслось от костра. — Данька, ты где? Вера, иди сюда!

Девчонка зашуршала травой и убежала. Данька постоял еще немного и тоже пошел к костру. Взрослые пели про «изгиб гитары желтой». Вера сидела и молча смотрела в огонь. Она теперь вовсе не казалась такой глупой и вертлявой, как днем. Данька сел рядом с ней и сказал:

— Здорово, когда звезды не жмурятся.

Она кивнула и улыбнулась.

Пермь — не место
для наблюдений

Мама

Учебный год заканчивался. Галина Сергеевна, казалось, уже не знала, что задавать, и объявила сочинение на тему «Моя семья». Нужно было написать о своих родителях, их профессиях, увлечениях, мечтах и надеждах, их любимых животных и вообще обо всем.

— А в конце не забыть написать о том, как вы их любите! — сказала Галина Сергеевна.

«Мой папа хочет быть счастливым. Он для этого много предпринимает. Это его профессия. Предприниматель», — написала Катя и посмотрела в окно. Там стоял, как именинник, тополь, блестя новенькими глянцевыми листьями. Вдали, у самого горизонта, синел лес, а ближе, вдоль оврага, виднелись крыши одноэтажных домов среди полупрозрачных зеленых крон. Катиной пятиэтажки — единственной в этом районе — отсюда видно не было. Зато было видно блестящую серебристую крышу дома Андрейки Поплавского, Катиного задушевного друга. В приоткрытое окно веяло теплым ветром, и где-то высоко-высоко раздавался свист стрижей — знак лета, знак свободы. «Папа всегда занят, — написала Катя. — Он мало бывает дома».

Даже если бы он бывал дома чаще — все равно было бы мало. Мало его голоса, чуть хрипловатого, которым он говорил: «Как дела, котенок?», мало походов в парк, мало прикосновений к его руке. Папа объяснял, что если он будет сидеть дома, им будет нечего кушать и нечем платить за квартиру, и у Кати не будет всех этих замечательных вещей, которые ей так нравятся, и, кстати, в парк на карусели они тогда вообще не попадут. «Не буду работать — не будет нам счастья, Катерина!» — говорил он весело.

В отсутствие папы за Катей присматривала тетя Света. Она жила в той же пятиэтажке, в крайнем подъезде, и на самом деле приходилась тетей Катиному папе, а Кате — двоюродной бабушкой. Но на бабушку тетя Света была не похожа вовсе: ходила в обтягива-

ющих брючках, с длинными выбеленными волосами, и ресницы у нее всегда были густо накрашены и загнуты вверх. К ней часто приезжал на блестящей машине рыжий человек по имени Миша. Тетя Света говорила, что у них с Мишей «серьезные отношения», и при этом улыбалась загадочно и значительно. В те вечера, когда приезжал Миша, тетя Света кормила Катю ужином и провожала в Катину квартиру, на ходу убеждая, что Катя уже большая. Большая, и может засыпать одна. Засыпать и ничего не бояться, ведь это только маленькие боятся, а Катя большая, стыдно бояться. Второклассница — и боится!

— Недоработка, — по-папиному отвечала Катя, и тетя Света принималась хохотать. Катерина спускалась по лестнице с тети Светиним плюшевым зайцем подмышкой. Заяц был тетиной реликвией, обычно она не разрешала с ним играть. Но для ответственного дела, когда человеку предстоит засыпать дома одному, он подходил как нельзя лучше — мягкий, уютный, с доброй улыбочивой мордой и шелковистыми ушами. Из Катиной квартиры тетя Света звонила папе: «Слава, я ее покормила, уроки приготовили, у меня Миша... Что значит опять?... Что значит часто? Так, я не поняла?!» Тетя Света уходила на кухню с трубкой, и оттуда доносилось приглушенно: «Я не поняла, мне, может, с ним вообще не встречаться? Мне, может, вообще все бросить? И с ребенком твоим сидеть сутками?» Катя шла за ней и останавливалась рядом, молча протянув руку. Тетя Света вкладывала в ее ладошку трубку. «Котенок, — по телефону голос папы был немного чужим. — Котенок, я скоро приду. Ты ложись спать и ничего не бойся. Ничего не бойся, поняла?» «Поняла», — обреченно вздыхала Катя. «Ну давай...» — говорил папа. «Давай», — отвечала Катя. Тетя Света уходила, Катя забиралась в постель и прижимала к себе зайца...

— Кантемирова! — голос Галины Сергеевны прозвучал близко и неожиданно. — Ты за окном нужные слова высматриваешь?

Класс хохотнул. Катя улыбнулась — это было бы очень неплохо, если бы за окном пролетали нужные для сочинения слова. Бегущей строкой, справа налево, как в новостях.

— Пиши-пиши, — сказала Галина Сергеевна. — А то опять сдашь пустой листочек.

Катя погрызла ручку и написала: «Мамы у меня нет».

Маму Катя совсем не помнила. Однажды, когда она стала приставать к папе с расспросами, куда девалась мама — умерла или уехала в другой город — он резко ответил: «Нет мамы! Нету и все! И не спрашивай даже!» Лицо его стало каким-то незнакомым и очень несчастным. Чтоб таким его больше не видеть, Катя с тех пор про маму не спрашивала.

Но то, что мамы нет, было правдой только наполовину. Был у Кати секрет, о котором не знали ни тетя Света, ни Андрейка Поплавский, ни даже папа.

Однажды, когда тетя Света уехала к кому-то что-то праздновать, Катя сидела, как обычно, на расправленной кровати с зайцем в объятиях. Во всей квартире горел свет, окно было зашторено так, что ни клочка темноты не было видно, возле Кати лежал пульт, с помощью которого можно было в любой момент включить мультик про Шрека. Но пока Кате не было. Она позвонила папе, нажав на трубке цифру «1», и услышав его «алло», сказала:

— Папа, я ничего не боюсь, кроме как засыпать одна. Почему же именно это мне и приходится делать чаще всего?

— Чтобы ты научилась преодолевать свой страх, — ответил мудрый папа.

— Преодолевать, — задумчиво протянула Катя. — А как?

— Включи мультик, я скоро приеду. Извини, Котенок, я сейчас не могу долго говорить. Ничего не бойся, поняла? Давай.

Катя пожалела, что позвонила слишком рано, когда настоящий страх еще не начался. А начался он, когда закончился мультик.

Катя почувствовала, что в соседней, папиной, комнате что-то происходит. Что-то невидимое и беззвучное, но очень страшное. Папина комната перестала быть папиной ком-

натой, а кухня перестала быть кухней. И все вещи перестали быть собой — они только притворялись привычными вещами, сохраняли свою знакомую форму, но уже было видно, что они не настоящие, что вот-вот сквозь них, как сквозь тонкую бумагу, прорвется что-то чужое и враждебное. «Не делайте так, я не хочу!» — прошептала Катя. Заяц смотрел на нее круглым пластмассовым глазом и уже не был милым зайцем, помогающим в трудные минуты, а был неживым набором плюша, ваты и пластмассы. Катя прижала его к груди, чтобы сохранить остатки одушевленности, и зашептала, зажмурясь: «мама-мама-мамочка-мама-мама-мамочка...».

И вдруг из темноты перед закрытыми глазами появилось склоненное над ней улыбающееся женское лицо — красивое, обрамленное золотыми волосами, сияющее от радости. За плечами женщины трепетал от ветра легкий белый плащ, будто крылья. От удивления Катя выдохнула весь воздух и забыла бояться. «Мама?» — спросила она шепотом и подумала, что это, наверное, все-таки не мама, но кто-то очень похожий на нее.

А потом они сидели вдвоем на берегу извилистой золотистой реки. Сидели рядышком и молчали. Было так спокойно, так радостно. А женщина сказала:

«Тебя пугает, что вещи вдруг начинают меняться. Ты взрослеешь, и твой взгляд меняется, ведь взрослые видят мир не так, как дети. Это бывает у всех. Все с этим соглашаются. Но ты не согласилась. Поэтому ты будешь взрослеть, но твой взгляд останется прежним».

Женщина Похожая на Маму повернулась и посмотрела на Катю с долгой-долгой улыбкой...

Утром папа сказал: «Я прихожу, а ты спишь в одежде поверх одеяла и улыба-аешься... Что снилось, Котенок?» «Хорошее», — сказала Катя, отводя глаза.

Зазвенел звонок.

— Сдаем работы! — требовательно закричала Галина Сергеевна.

Катя, не торопясь, как можно красивее вывела:

«Я люблю своих родителей!»

Мой беззащитный мир

Дарья Тамирова Прежде

чем опрокинешь в ничто Иван

Козлов Все-таки хорошо быть

мертвым Владимир Кочнев

Он почти ни с кем не общается Алексей

Евстратов Знаешь, ты не

выбираешь **быть** любимым

Анна Пепеляева Чтобы

любить не нужно в сущности

никого Антон Бахарев-

Чернёнок Даю мне сил

пережить эту черную зиму

Дарья Тамирова

* * *

Ее кормили с ремнем все детство.
За едой не разрешалось вертеться.
У всех дети как дети, а наша никого не слушает,
Плохо кушает.
Кашу рисунками из варенья украшали,
Читали за столом вслух про трех поросят.
В общем, выросла дура большая-пребольшая —
Без двух сантиметров метр шестьдесят.
И ничего-то на свете не интересно дуре,
Кроме собственной роли в русской литературе.
А ее все донимают и донимают,
Ничего не понимают.
Она думает: Господи, сдохнуть бы поскорей,
Чтобы никто не принуждал к диалогу.
Бабка за дедку, мамка за папку и еще один —
предположим, Женя или Андрей.
Душу тянут-потянут,
Вытянуть не могут.

* * *

Что сказать — зима беспредельна и необъятна.
Кажется, мама нас родила наконец обратно,
Как и просили. И вот мы, свернувшись, лежим в сугробе,
Как в ледяной утробе.
Ножки и ручки скрючив, уши-глаза закрывши,
Мы имена свои позабудем дружно.
Нам ничего не видно и ничего не слышно.
И ничего не нужно.

Новый год

Перемены начнутся уже с перемены блюд,
А потом — шампанское и салют.
Календарик новенький впереди.
Отмотали еще один.

А сама себе ручку посеребряю.
А сама себе что-нибудь подарю.
А сама себе в рюмочку подолью.
А сама себя полюблю.

Потолок ледяной, дверь скрипучая, снег пошел.
До чего хорошо.

Господи, ну хоть чем-нибудь посодействуй мне —
Не оставляй ты меня с этой дурацкой елкой наедине!

* * *

Мой незащищенный мир, и без того дырявый, как огромное решето, —
Не стесняйся, Господи, воля твоя, забирай, что есть.
Только уж гвоздик тоже вбивай сам и веревочку для меня не забудь сплести,
Прежде чем опрокинешь в золотое свое окончательное ничто.
Верх справедливости промысел твой — истребить постепенно все, что не запретил.
Я уже вижу, на что на сей раз твоя нацелилась гаубица.
Мне ничего твоего не нужно, кроме того, чтобы надо мной вставало солнце его лица,

Я вообще не знаю других никаких светил.

* * *

Кто на аптечных вкладышах переставлял слова?
Вот тебе ночь на убыль, бессонница, дурнота,
Чтобы замороженно перечитать:
Тмина плоды, крушины кора, чабреца трава...

Верить нельзя: прогнозам, градусникам, часам.
Что ж, привыкай обходиться фиговым инвентарем.
Дальше мы будем старше, потом умрем.
Но и сейчас понятно: все, что стяжал — ты сам.

Не собирай друзей, не проси любви,
Не уповай на полезные вещества.
Врут твои справочники, календари твои,
Тмина плоды, крушины кора, чабреца трава...

* * *

Под сень еще безлиственных деревьев
Я выхожу, как будто умерев.
Прикуриваю тенью зажигалки
(Апрель, плюс семь, четверг, начало дня,
Вороны что-то делают возле свалки),
Все, думаю, живите без меня.

Все кончилось, а миру хоть бы фиг.
Вода с небес течет за воротник.
И в сапоги.

Иван Козлов

* * *

Деревенская улица. Маленький дом с огородом.
Иногда так бывает — припомнил и чуть не заплакал.
(Как назло, ничего не стирают прошедшие годы).
Палисадник с пионами. Кошка с котенком. Собака.

Все по-детски любимо, все живо и все интересно.
Добродушная бабушка. Дед терпеливый и строгий.
По ночам за окном — упоительно черная бездна.
Только синий фонарь вдалеке, у железной дороги.

Пирог к Рождеству. А на елке — игрушки из ваты.
Космонавт и снегирь, что глядят из-под согнутых веток,
Полюбились до слез.
Все пропало в две тысячи пятом.
Но не надо об этом.
Серьезно.
Не надо об этом.

* * *

Все-таки безумно хорошо быть мертвым:
не плати кредитов, завяжи со спортом,
не болит желудок, не тревожит печень,
знай, лежи и слушай приторные речи.

Все-таки безумно хорошо быть рыхлым:
растворяться плавно, будто вредный выхлоп.
Пусть никто не помнит, не скорбит, не ищет.
Ты питаешь плотью чьи-то корневища.

Все-таки безумно хорошо быть честным:
указать себе же собственное место.
Каждый день, как мантру, повторять основу:
никому не нужно ничего живого.

* * *

Ливень приносит асфальту плохие вести.
Тот, кто всю жизнь был ноликом, вдруг превратился в крестик.
Палка, палка, кружочек и огуречик.
Такой примитив, а поди ж ты, и то не вечен.

В белых черточках на асфальте мало жизненной силы.
Кальций сделал его человеком, вода убила.
Не осталось ни головы, ни ручек, ни ножек.
Упокой, Господи, как-нибудь и его душу тоже.

* * *

Сильнее всего хочется быть пачкой сигарет «Прима»,
Забытой рабочим на дальней полочке над верстаком.
Наверное, пару раз в день люди будут проходить мимо,
Но ты все равно им не нужен, ни с кем из них не знаком.

Это само по себе неплохо, но все-таки лучше стараться
Постепенно исчезнуть совсем в ожерельях паучьих тенет.
Лучшая вещь, которую можно сказать про какое-либо пространство:
Здесь уже никогда ничего, слава Богу, не произойдет.

* * *

Никакому огню не укрыться в твоих ладонях.
Ты такой же, как все остальные, карточный домик.
А рубашка на картах всегда тускнела и меркла.
И у тех, кто достроил себя до самого верха.

Локти, пальцы, колени, глаза, запястья
распадаются на четыре двухцветных масти.
Исчезает мясо и кости, тончает кожа.
Каждый из нас в какой-то степени невозможен.

* * *

Обнаруживаешь себя внезапно — первый раз после детства —
допустим, в застывшем вагоне городского трамвая.
Становится холодно, неуютно, пытаешься как-то согреться.
Ерзаешь на ободранном кресле, мало что понимая.

Тебе двадцать два. Пятый курс. Конец института.
Начало карьеры. Личная жизнь. Радости и печали.
Тут, в трамвае, все это кажется мерзким, склизким, раздутым,
Как мертвое тело, оставленное под солнечными лучами.

Обнаруживаешь себя повторно. Тебе уже пятый десяток.
Вторая жена. Дети. Госслужба. Самолет «Москва–Воркута».
Время, пока тебя не было здесь, спокойно текло куда-то.
Вдыхаешь — и облачко холода вырывается изо рта.

Такси. Гостиница. Номер-люкс. Все еще не можешь поверить.
Весь вечер пьешь пиво, куришь, кое-как переводишь дух.
Наконец, все как-то проходит. Угасает, по крайней мере.
А третий раз обнаруживаешь... Впрочем, с тебя хватит и двух.

Владимир Кочнев

* * *

Они живут в поселке городского типа —
Он и его мама.

Мама работает медсестрой.
Он же нигде не работает —
Учится в Академии живописи, в большом городе
В часе езды отсюда.
Некоторые люди, например я,
Считают его гениальным.
Свои работы он прячет в чулан
(в других местах они больше не помещаются).
И мать жалуется, что уже вся одежда
провоняла из-за них маслом.

Он почти не с кем не общается,
А когда переходит улицу,
Ему в спину кричат «пидарас».

Зарплата у мамы маленькая.
Тем не менее, когда я ночевал у них прошлым летом,
Они не позволяли мне есть на свои.

Тем не менее у них есть цветной телевизор
с большим экраном,
Маленький огородный участок
И шкаф книг, большинство которых куплены у букиниста
За среднюю цену в 10 рублей
Или подобраны им на помойке,
Как биография Маркса, к примеру.

Еще у него много игрушечных самолетиков,
Сделанных из клея, бумаги и пластилина.
Иногда он носится с ними по комнате,
А мама считает, что это «полезно для физкультуры».

Они иногда ссорятся.
Его, например, раздражает, что мать не знает
Значение слова «реконструкция».

Тем не менее, я полагаю, что они любят друг друга.

* * *

Неважно, что
пробудит это
в тебе.

Сердцебиенье дождя,
Гитарист, замурованный в магнитофоне,
Электричка под дикой луной,
Горы синего снега,
готовые к смерти.

Неважно, кто ты —
Поэт,
Инженер,
Или работник ж/д.

Однажды это придет
И расставит все по местам.

* * *

В зоопарке было весело:
Жираф раскачивал длинную шею,
пытаясь ударить себя головой по заднице,
Конь носился по кругу и бил копытом ограду,
Пеликаны махали подрезанными крыльями,
Безглазый стервятник вращал туда-сюда головой,
Мартышка, вцепившись в решетку,
тряслась, словно панк на концерте.

Но самым смешным оказался чувак в странном прикиде.
Перебегая от клетки к клетке,
Он корчил рожу, кричал, улюлюкал.
Я ходил за ним до самого вечера —
Он был неотразим.

* * *

Старый, забытый богом Дом творчества,
Где с советских времен
Задержались мумии местных писателей
И начинающие поэты лет под сорок.
Самым живым среди них был шизофреник.
Он всегда называл говно говном,
Ни с того, ни с сего начинал петь,
В скучные моменты выходил из зала,
Громко стуча подошвами.
Он цитировал строки хороших,
Но никому больше тут не известных поэтов,
Ходил в рваной одежде,
Женском свитере, надетом наизуоборот,
С рюкзаком, полным книг, за спиной.
Он постоянно принимался писать,
Мгновенно забывая все написанное.
Все его гнали,
А я немного завидовал.

* * *

Я пришел на встречу с любимым писателем.
Я прочел все его книги, эссе, воспоминания,
Интервью.
Я знал о нем почти все.

Я ожидал увидеть героя, супермена, монстра.

А это оказался сухонький старичок
В не очень новом пиджаке
С писклявым голосом.

И пусть он хорошо сохранился
(выглядел лет на пятнадцать моложе),
Пусть говорил талантливо и дерзко,
А держался вызывающе,

Я был разочарован.

Героя моих книг
Нужно было искать в другом месте.

* * *

Не кровь, а поэзия
Пульсирует в моих венах.

Я вдыхаю воздух,
А выдыхаю стихи.

Я смотрю на афиши,
А вижу стихи.

Я слушаю вас,
Мой дорогой друг,
А слышу стихи.

И выдыхаю их снова.

Алексей Евстратов

* * *

Вагон уснул. Ребенок плачет тонко.
Так в тамбуре заледенели окна,
что кажется — и нету ничего.
Вдоль полок возвращаешься к титану
и, чаю не спросив,
глядишь в окно.
Мелькает полустанок.
Нет, что-то есть! Но никого
не трогает в несущемся вагоне
промчавшаяся неземная стынь:
в сугробах будка, и звоночек стонет,
шлагбаум над проселочком пустым...
— Херак-херак! — мотается на стыках
мертвеющее желтое нутро.
Рукою нарисованные бирки
на пятках, выдающихся в проход,
мерещатся...
Мчишься в пустоту —
над рельсами в одном условном метре.
Дитя кричит, схватившись
с иллюзией необоримой смерти.

* * *

О такой свободе, о которой —
нет, не песни! — песенки поют,
мне рассказывали два шофера:
первый — старый, а второй — якут.

Я кивал им, водку разливая,
запивая водкою шашлык.
И вздыхала бикса плечевая
за соседним столиком впритык.

Солнце выпятилось над навесом,
грея пыль. Скрипел магнитофон.
Я подумал, что, наверно, здесь он —
недорастворенный Вавилон.

Та же башня, те же откровенья,
суета, смешение зэка...
Я просил остановить мгновенье,
и еще с морковкой шашлыка.

Проходили пестрые цыгане.
Блядь вздыхала с вековой тоской.
Проплывал над городом в тумане
дирижабль патрульный ментовской.

* * *

Смерть — письмо. Она приходит
с утренней проверкой почты.
Знаешь, это происходит
и с другими. Знаешь, точно
так же линия ладони
просыпается в морщинах.
Знаешь, ты не выбираешь
быть любимым.
Знаешь, все уже исправить
одеяла белый ноготь.
— Не уходишь? Да ведь? Да ведь?!
Жизнь бывает очень много.
Жизнь вообще намного больше,
только почему-то мало.
В утренней проверке почты —
колокольчики начала.

* * *

И женщины с лобками бритыми,
и пьяни с вечными «идитынах...»,
и город сам,
светясь подарками жемчужными
над урн отверстыми окружьями,
вдоль по усам

текут безумных тротуаров,
как пиво летнее дождя,
и всех июлей комиссары
влюбленных щупаются пары,
и нет назад

пути из призрачного лета
и слов багровой суеты,
все тонешь ты...
и то, и это,
все таешь ты...

и над тобой проходят новыми
кадрильями людей медовыми
девчонки с пупиками голыми
и салютуют дохлым псам.

* * *

Узкая щеточка ковыля,
словно бордюра седая бровь.
Пес колченогий проковылял,
глядь — уже пал возле кучи дров.

Жарко. Мерещится вдалеке
отсутствие всякого далека.
Голые дети в пыльной реке.
Небо закраиноу садка.

Бомж городской на покой бредет,
и изумруда полна сума.
Падает с ясеня вертолет.
В небо откидывается тюрьма.

Анна Пепеляева

* * *

сколько прожили смутных лет в снеговой тиши,
как упорно не шли на след — ни одной души.
знай, жи-ши пиши через «ы», ча-ща — через «я» —
вот и все прописные истины бытия.

но прозрачным воскресным утром встает один,
пробирается меж бутылок и сонных тел.
он хотел не такой живот, не таких седин
и такую, наверно, родину не хотел.

ставит чайник, роняет спичку, глядит в окно
(как бы ни была боль бела для усталых глаз)

и, куря в занавеску, думает, где ж оно —
то, зачем он пришел на землю в сто первый раз.

в батареях бежит вода, и урчит кошак,
у соседей ребенок делает первый шаг.
не вживайся корнями в землю, тянись, мой друг,
до стола, до шкафа, до света, до Божьих рук.

* * *

говорила бабушка, прислушиваясь к груди,
в темноте коридорной нашаривая тапку:
«с чужими мальчиками до ночи не ходи,
кушай кашу, верь в Бога и носи шапку».

пожури меня теперь, милая, пригрози.
все течет, не меняясь, и сын болен.
дворник топчется с утра в снеговой грязи,
так невовремя выпавшей на нашу долю.

и вот теперь-то я понимаю qui pro quo,
когда каша съедена, шапка сброшена да Имя стерто —
чтобы любить, не нужно в сущности никого:
ни чужих мальчиков, ни своих, ни мертвых.

а можно просто, как в детстве, на раз-два-три
в голубой глубине, в тишине крапивной...
закрываешь глаза и видишь в себе, внутри,
свет переливный.

* * *

где твой дом? покажи, где колетса и болит.
в городке со смешным названием Изоплит,
где в потемках бредешь к себе, приходя в себя,
на крыльце полусгнившем сумочку теребя.

здесь до жути все так же, как четверть века назад:
костяное яблоко, облако, мерзлый сад.
в каждом дереве, в каждом корне и меж жучков
поцелуи твоих же крошечных башмачков.

тишина шелестит и стелется, как гюрза.
но не бойся. ложись в траву, закрывай глаза.

новый месяц растет и с небом теряет связь,
как и ты, понемногу целостным становясь.

постучись. с ними выпей, выслушай, пожалей,
не бери, если будут давать даже пять рублей.
а с утра, не целуя в лоб, не будя углей,
уйди и давно отжитого не жалея.

* * *

сигареты кончились. выругавшись едва,
выключаешь комп, выходишь под фонари.
через сутки тебе исполнится двадцать два,
через год, если все получится, двадцать три.

покупаешь Dunhill, вдыхаешь горячий дым,
фарами в темноте нащупываешь дом.
ты умрешь, но скорей не пьяным и молодым,
а на дачной койке рассасывая валидол.

вспоминяя что-то, не связанное со мной,
что-то важное: девяностые, дачный зной,
щеки с ямочкой, передние с кривизной,
бог в иконах — ласковый и родной.

вспомнив все: и чужие росписи в дневниках,
и коленки острые в зеленке и синяках,
как в колодец ахнешь: мамочка, помоги!
а в ответ — только тина черная и круги.

Антон Бахарев-Чернёнок

Северная элегия

Хмыри, хмыри, хмыри, хмыри...
Глаза откроешь и закроешь —
Со стаканом чумазый кореш,
Чибоном делится: «Кури!»

Раскисший берег. Март, апрель...
И сажка валится с котельной.
И Саша валится, отдельно
От Вани, в лодку, как в постель.

Все тут же: клуб и магазин,
Каркас конечной остановки,
И на велосипеде, ловкий,
С одной ногой рыбак один...

Он будет, только сгонит лед,
Стоять в реке с утра до ночи:
Два колеса, нога, комочек
Червей, клюет и не клюет.

Кентавр наших дней, навек
Прирос он к велику, и даже
Он из портрета стал пейзажем;
И, в общем, каждый человек —

Не человек, а так, топляк,
Что головой в воде качает;
И лещ его не отличает
От валунов и от коряг.

...Мой путь, как дерево, ветвист:
От корня — ствол; дороги, тропки,
Дрожащий лист, потом короткий
Взмах ветра — и на землю вниз.

Где, сжаты створками зари,
Ее кровавым перламутром,
Еще видны, еще окурком
Последним делятся хмыри.

И где сутулый силуэт
В реке, как будто знак вопроса...
Его стирает ночь. Так просто
Обозначая свой ответ.

Но я пока еще ползу
По ветке, и пока не с краю,
Я в памяти перебираю
И узнаю всех по лицу —

Ивана, Сашу, рыбака —
В промозглом ветреном апреле...
И пепел сыплется с котельной,
И живы мы еще пока.

Северная молитва

Господи
дай мне сил пережить эту черную зиму
в холодных бараках пропахших мочой и спиртом
смотри я в тряпье я лежу головой в окурках
я дышу в гнилые обледеневшие доски
под которыми шевелятся крысы
а вокруг меня смотри черные люди
Господи

Господи
дай сил мне бежать искушений
у страшной и живой полыни во льдах северной реки
смотри я горячей желчью давлюсь и плачу
и плюю в снег своей северной кровью
а в черной воде смотри какие звезды
Господи

О Родине

Светало.
Заполз муравей на смолистую шпалу.
Молчала Губаха.
От страха.

Виднелись
Над Косьвой скалистой, как призраки, ели.
И люди мигали
С грибами.

И снова,
Как будто башмак, старый дом на Крестовой,
И дым ядовитый
В зените.

И боги
Ведут товарняк по железной дороге,
И мы с пацанами
Не знаем,

Что вскоре
Умрем. И Губахе останется горе.
И небо навалом
По шпалам.

* * *

Я подражал Дрожащих.
 Шутил с Веселовым.
 Бухал с Пухановым.
 Ходил по Осе с Пермяковым.
 Много чего и много с кем делал —
 Но ни разу не попал в точку.
 Видимо, все самое интересное
 И прячется в этих маленьких несовпадениях.

Спаси от собственных стихов...

Спаси от собственных стихов,
 Уже написанных, звучащих
 Во мне настойчивей и чаще
 Иных, невысказанных, слов.

Не прикусив родной язык,
 Не сплюнув лексикой кровавой,
 Я отменяю это право —
 Искусно складывать азы.

«На берегу сложили дом,
 Дорожку вымостили к речке —
 Пора присматривать местечко
 В саду...» — известный фельетон.

И речи видимая дрожь —
 Там, где студеными ключами
 Бьет слово, данное в начале...
 Вверх по течению идешь.

На излуцине реки

На излуцине реки
 Берег вымыт и обрывист.
 «Мы еще вот тут носились», —
 Вспоминают старики.

«Тут шел Вася рядовой
 И нашел себе невесту» —
 И показывают место
 В паре метров над водой...

Так, наверно, и по мне
 Друг однажды заскучает —
 Наблюдая быстрых чаек
 В неподвижной вышине.

Я помню, хариус коптился —
 И белый дым лежал огромно,
 И с облаков срывались птицы,
 А из реки кивали бревна,
 И лето в скомканной зевоте
 На крыши прыскало из неба,
 И люди в тихом самолете
 На рыбный дым глядели в оба,
 Твердя в тревоге и печали:
 «Горят, горят леса отчизны!»
 Но, засыпая, улетали;
 И оставались тропки, избы,
 А из реки кивали бревна,
 И с облаков срывались птицы —
 И продолжался мир укромный,
 В котором хариус коптился.

* * *

Растворю окно,
 Растворюсь в окне.
 Ты смотри кино
 И не плачь по мне.

Но не так, не так,
 Чтоб сказали — че,
 Вот еще мудака,
 Типа Башлачев.

Видишь — небо, лес,
 Всякая фигня,
 Дождики в отвес...
 Это буду я.

1. Ощущаете ли вы себя «локальным» автором — пермским поэтом или «место творчества — вся Земля»?
2. Насколько инспирировано ваше творчество местом, в котором вы живете? Или «прописка» не влияет на «поэтическое самочувствие»?
3. Принято считать, что «Пермь — странное место». Насколько, по-вашему, верно это утверждение? Чувствуете ли вы хтонический гул этого места? Насколько актуальна для вас идея пермскости? Или Пермь — всего лишь место среди прочих?

Дарья Тамирова

1. Ощущаю, хотя писала бы и в любом другом месте, наверное. Но уж то, что это были бы какие-то другие писания — точно.
2. Мне кажется, чем малосолнечнее место, где ты живешь, тем больше вероятность беспричинной печали. Пермский климат — прекрасная предпосылка не только к тому, чтобы грибы выращивать, но и к тому, чтобы грустить без дополнительных оснований. Это же располагает к творчеству! Мне кажется, у всякого пишущего здесь есть подспудное ощущение, что он сюда сослан.
3. Мне не нравится слово «пермскость». Это какое-то несуществующее понятие. Если тут речь о том, что всех здешних жителей что-то объединяет, то мне, например, понятно, что все на самом деле очень разные. Что до «хтонического гула», то думаю, что он от умения слышать больше зависит, чем от местности.

Иван Козлов

1. Локальным я себя ни в коем случае не ощущаю. Я не имею в виду, что я вне границ города — тут вообще не идет речь о том, чтобы «локальность» противопоставлять «глобальности». Скорее, я себя ощущаю одинаково отчужденным и от пермского контекста, и от мирового. Не знаю, насколько это хорошо или важно.
2. Если уж говорить о том, инспирировано ли творчество местом проживания, то я буду говорить не о Перми. Для меня это места детства — вроде Кишерти. Они влияют, хотя остались далеко в прошлом. И еще долго будут влиять. А Пермь мне очень близка,

но по каким-то другим мотивам, которые с творчеством никак не пересекаются. И никак на него не воздействуют.

3. Скажем так, иногда возникает чувство, что Пермь — не только «странное место», а вообще единственное реально существующее пространство, а все остальное — для антуража. Впрочем, в отношении меня и остальных людей мне тоже иногда так кажется. Пермь сейчас видится мне местом для какой-то глобальной драмы — утопии или напротив — антиутопии. Все время есть какое-то предчувствие на этот счет.

Анна Пепеляева

1. Безусловно, я пермский автор. В последнее время ловлю себя на том, что где бы я ни была и как бы ни старалась расширить свои поэтические горизонты, они все равно воспринимаются мной в рамках «пермской» темы, с позиции жителя Перми.
2. Мое творчество, по сути, и есть результат ощущения себя как пермского автора. В силу определенных обстоятельств моя жизнь в последние пару лет представляет собой постоянное метание между Пермью и Москвой — провинцией и столицей. Эти постоянные и резкие контрасты, с одной стороны, дают широкий простор для творчества, а с другой — только подогревают болезненный комплекс «провинциальности», который, как мне кажется, ощутим во всех моих стихах этого периода.
3. Живя на этой земле, наблюдая за ней, прикасаясь к ней, я, конечно, ощущаю ее безумную энергетику: мощную заряженность веками истории от древних, еще не оформившихся племен до советского города Молотова. Пермская земля уникальна тем, что здесь нет ни одного пустого, ни с чем не связанного места. И поэтому каждый шаг по ней должен быть осознанным, бережным. Пока я не могу вербализовать это ощущение в своих стихах, но думаю, оно должно вырваться с годами.

Антон Бахарев-Чернёнок

Я не считаю, что поэт обязан быть «местечковым», но про себя лично могу сказать, что Пермь с ее окрестностями дает мне мощный заряд. Со своей стороны, я ощущаю себя в этом энергетическом пространстве частицей, с отличной от нуля массой. Насчет «странности» Перми не могу заявлять со стопроцентной уверенностью, а вот северные земли Прикамья — заповедник «Вишерский», деревня Бахари и город Чердынь — абсолютно «странные» места. И если ты можешь аккумулировать северную «странность» — флаг тебе в руки. Космос там точно ближе.

Роман Мамонтов

Лесопильня.ru

(маленькая повесть о счастливых людях)

Меня не волнует эта

конструкция

сияющего стекла,

сенсорных дверей и

скопления полированных

автомобилей. Круговорот

вещей — это круговорот

торговых марок

Я ненавижу Столицу. Нет, не нашей Родины, а — ТРК «Столица». Торгово-развлекательный комплекс. Там все в огнях, охранники с улыбками арбузными ходят, «security» теребят себе. Реклама вокруг, много рекламы. Все шляются и смотрят на нее. Хочется купить что-то. Реклама — это жопа, только в лосинах, без целлюлита и прыщей, а эскалаторы — вход в эту рафинированную задницу. Перфорированная лента не требует литола. «Столица» как попкорн: сначала загадочно перекачивается в пакетике, а дай жару — затрещит, распухнет... Есть пицца такая странная: чизскейки и аппетайзеры. По эскалатору, сквозь рекламу — к слабоумию. Санек, говорит, что не прет его от этих «фудов». Он — кореш мне, в некотором смысле. Еще познакомлю. С Лесопильни. Интересный такой. Ну, да...

Я сантехник 6-го разряда по «Единому тарифно-квалификационному справочнику рабочих» и часто смотрю на «Столицу». Меня не волнует эта конструкция сияющего стекла, сенсорных дверей и скопления полированных автомобилей. Меня волнует... кстати, в запахе дорогого табака и волнах парфюма сладко мерцают красные буквы: «Провинция — там, Столица — тут», и средний палец на огромном ЖК-мониторе указывает в сторону трамвайной остановки:

«там, там, там». Короткие юбки, ноги, руки, прически, модные подонки и обрюзгшие покупатели картонной веры. Fuck you — вместо: «Пошел ты...». Не иметь карту VISA Electron — стыдно... Я часто смотрю на «Столицу». За желтизной сэндвич-панелей ласково клокочат трубы. Их слушать уметь надо. Много труб, фитингов и отводов. Они спрятаны в ниши, каналы и штробы. Это от глаза человеческого. Вентили, клапаны, регуляторы — живые существа. Нужен подход. И пусть Гарри Поттер идет подальше со своим «Нимбусом 2000» и «Мандрагорой». С трубой наладить контакт сложнее. Свингующий воздух испарителя — как поцелуй зимы, свежий и целомудренный. А пульт управления системой пожаротушения «ESSER» — мой напарник. Да-да. Молчаливый, умный и работающий. Но это все мечты... Я не работаю в «Столице». Я мимо хожу. Мое место — районный тепловой пункт. А ведь могло быть все иначе. Трубы «Столицы» не какой-нибудь вам эскалатор. Новые и блестящие... Хотя на судьбу роптать не стоит. Жизнь устроена справедливо. Где есть пар, там жди конденсата... Я открываю «Справочник» и читаю:

Слесарь-сантехник должен знать правила испытания санитарно-технических систем и арматуры.

А вот Санек не знает. Зато хер себе выдумал необыкновенный — с шариками из оргстекла под крайней плотью. Замечательный хер такой. Стойкий и дешевый, ну в смысле изготовления. Санек «ездит на лопате», как шутит Управляющий Лесопильни. Санек не спорит: Бог далеко, а человек — не ангел. «Детей в капусте не ищут», — наставляет Санек. Он исполнительный, много вопросов не задает. Хоть «Камаз» щепня голыми руками разгрузит, хоть перочинным ножом дров наколет, но попроси сходить конем в шахматах, только снисходительно улыбнется, мол, аист — не самолет. Санька часто посещают идеи, он мыслит категорично и в дебри не лезет. К примеру: «Америка — зло, Китай — будущее». Выпить Санек

не дурак. А что тут плохого, если не перегибать? Да и вообще, откуда он взялся, сам черт не разумеет. Но черт дорогу ведал. На севере области есть городишко, весь в саже, угольной пыли, дома полуразрушены, на местном заводе сквозняк в стропилинах гуляет, народ злой ходит, однако спирт не переводится; из угара — в гроб, и плевать людям, что домовина не по росту. Плохо жить, когда черт понукает тобой да креслом мэра вертит, точно крупье рулеткой. Из тех краев, поговаривают, и появился Санек — без документов, судьбы и веры... Так вот, Санек соорудил хер себе. В помощники взял Серегу-хлыща, бывшего грузчика с оптовой базы. Засадили они спирта с пол-литра и вспомнил Санек один неприличный фильм. Поначалу загрустил, а потом решительно встал и направился к своему фургончику, переделанному под жилье, с нарами, печкой-буржуйкой, замусоленными шторами и алюминиевой посудой на полках. Серега-хлыщ тоже к дверям. Заглядывает, а там Санек из-под стола вытаскивает кусок оргстекла.

- Ты чего? — удивился Серега-хлыщ.
- Надо. Лучше помоги.
- Установили они лист на верстак. Санек сбегал за инструментом, приценился.
- Помогай, — буркнул он.
- А чего так?
- Заладил. Чего да чего? Хер апгрейдить буду!
- Не понял? — выпялил нижнюю губу Серега-хлыщ.
- Санек сплюнул, застегнул на верхнюю пуговицу телогрейку и учительским тоном объяснил:
- Апгрейдить — это усовершенствовать. Вырежу из оргстекла три шарика и засуну под крайнюю плотью.
- И Санек широко улыбнулся.
- Зачем? — удивился опять Серега-хлыщ.
- А затем, — поднял указательный палец Санек. — Бабы любят, когда перекачивается там. Удовольствие, понимаешь, увеличивается.
- Ну ты, Санек, даешь!

Сергеа-хлыщ помолчал немного, и вдруг его осенило:

– Так ведь у тебя и бабы-то нет!

– Да-а, — призадумался Санек. Но решительно заявил:

– Найдем!

– С теплотрассы что ли? Варьку-обмуровку?

– На фиг она нужна... Настоящую. Чистую и работающую.

Сергеа-хлыщ недоверчиво пожал плечами, и стали они апгрейдить хер. Вырезали маленькие округлые кусочки, поудобнее устроились и начали шлифовать грани и саму поверхность. На подготовку к предстоящему таинству ушло часа четыре, причем средняя скорость убывания спирта из емкости составляла 0,25 литра в час. Как заметил бы сварщик Васька Баблак: «В конце тоннеля забрезжит свет».

– Ну, — произнес удовлетворенно Санек, — теперь хирургия начнется.

– Это как?

– Стамеску неси.

Сергеа-хлыщ сбегал до склада, порылся там и принес стамеску со сколотой ручкой, затупленную, со следами ржавчины. Санек повертел ее так и сяк, посмотрел на свету: вроде годится. Взял напильник и подработал полотно.

– Готово, — сказал довольно он. — Пошли.

Они направились к складу, где стоял металлический стол-верстак. Бросили на него пару струганых досок. Санек плеснул спирта.

– Для чистоты, — пояснил он и достал свое хозяйство. — Начинай.

– Что?

– Операцию.

Сергеа-хлыщ уставился на него:

– Как?

– Стамеской руби здесь, — он указал на крайнюю плоть. — А потом я загоню туда шарики. Понял?

– Понял, — неуверенно ответил Сергеа-хлыщ...

Через час они сидели и мирно выпивали.

– Ты теперь того, — подмигивал Сергеа-

га-хлыщ. — Твой хер — звезда округи!

– Да-а, — умиротворенно отвечал Санек. — Звезда...

А через день начались неприятные вещи. Хозяйство Санька дало сбой — заглохло. Сергеа-хлыщ донес об этом Управляющему Лесопильни. Тот смачно выругался и отвез Саньку в областной вендиспансер. Саньку, конечно, помогли — был сделан укол и назначены антибиотики. Рыжий врач прочитал лекцию, что-то записал в журнал. Санек со всеми доводами согласился и, несколько смутившись, протянул руку доктору. Шарик так и остался под крайней плотью, а вот бабы не появилось. Зато сварщик Васька Баблак, когда Санек и Сергеа-хлыщ за складом выпивали, слышал одно и то же:

– Звезда округи!

– Звезда, — доносилось грустно.

Слесарь-сантехник должен знать способы установления дефектных мест при испытании трубопроводов.

А вот Санек с Лесопильни не знает. Зато поручил ему как-то Управляющий срубить всю иву на прилегающей к Лесопильне территории. Планировалось впоследствии засыпать землю строительным мусором и утрамбовать под склады. Территория оказалась болотистой. Санек прихватил топор, длинную веревку и поплелся к объекту работы. Кругом трава осока; то тут, то там камыш, кусты всякие, птахи выныривают из-под ног. Небо хмурое, ветер растительность покачивает. Идет Санек и думает, как на заработанное телефон мобильный купит. Положит его в картонную коробку, а по вечерам будет выуживать оттуда и любоваться кнопочками да светящимся экраном. Еще у него имеется бархатная тряпочка, которой он будет протирать его. Зачем куда-то звонить, о чем-то говорить, кричать или смеяться в трубку — этого Санек не понимал. В субботу он совершил удачный обмен: открытку смеющегося Будды — на замысловатый плакат с надписью: «Иисус Христос — Super Star». Санек увидел в этом добрый знак и, насвистывая популярную мелодию, акку-

ратно приладил нарядный постер к стене рядом с измусоленной репродукцией Генри Кусочкина «Пушкин среди нищих». Персонажи дико и даже несколько удивленно поглядывали на загорелое тело Super Star, стремительно покидающее планету. «Авангард, еп-перный театр», — выдохнул Санек, и мысль о мобильном телефоне стала ему ближе и желаннее.

Он остановился у самой большой ивы, скинул веревку и ударил несколько раз топором по стволу — инструмент оказался тупым. Санек ничуть не расстроился, он размахнулся еще раз — и процесс заколачивания денег пошел. Ивняк нехотя, со скрипом валился под ноги. Топор зловеще сверкал в воздухе. С каждым взмахом цель становилась ближе. Вместо ветвей и стволов в глазах Санька мелькали заветные клавиши телефона. Санек остановился и вытер со лба рукавом телогрейки пот. Затем сгреб в кучу порубленные ивы, сбегал за промасленной ветошью и развел костер. Высокие языки пламени задрожали, выкинули пригоршню искр в воздух. Послышался треск, жар ударил по лицу. Санек, довольный такой работой, вынул шкалик спирта и отхлебнул. Он присел, свернул ноги калачиком и... увидел много разноцветных искр; сначала маленькие, затем все больше и больше. Они переливались, подмигивали, исчезали и вновь сплетались хороводом, но их словно магнитом тянуло к центру костра, где (Санек даже ущипнул себя — не сон ли?) стоял, чуть покачиваясь, увесистый посох. Потом, как из тумана, появился человеческий контур — халат, голова, руки, борода; что-то охнуло, воздух загустел и вырос старик. Санек зажмурился, открыл глаза — старик не исчез. «Значит, правда», — подумал тоскливо он и уставился на старика. «Богатый халат, темно-розовый, с золотистыми змейками, — начал прикидывать Санек. — Борода как у отшельника из фильмов. Седые брови, посох с костяным набалдашником, длинный, весомый. А вокруг — пламя и треск. Пламя и треск». Он скользнул взглядом вниз и увидел на ногах старика онучи с комьями глины и плесени. «Леший! — озарило Санька. —

Ей-богу, леший!». Старик с укоризной посмотрел на Саньку. Тот перекрестился и приготовился к худшему. Интуитивно сунул руку за пазуху, достал шкалик со спиртом и жадно отхлебнул. Старик покачал головой:

– Дурак ты, Санек!

Шкалик упал в примятую траву.

– Это почему же? — удивился Санек.

Старик ничего не ответил, вылез из костра и пошел прочь, расчищая посохом себе путь. Санек минут двадцать смотрел ему вслед, а потом ожесточенно принялся топтать и распинывать угли костра.

– Леший, — повторял он. — Ей-богу, леший...

Вечером Санек выпивал за складом с Сергеем-хлыщом. Он все ему рассказал. После каждого глотка спирта приятель морщился и, перемалывая крохи черствого хлеба гнилыми зубами, повторял:

– Дурак ты, Санек! Это ж водяной!

– Ей-богу, леший, — доносилось уныло.

Сергеа-хлыщ носком сапога ударил по длинному обугленному предмету с костяным набалдашником, который обнаружил неподалеку от места вырубki сварщик Васька Баблак и с сожалением взглянул на Саньку. Сквозь тающие облака проклюнулись звезды. Ветер постепенно стих и ушел в поля.

– Водяной это! — отрезал Сергеа-хлыщ.

– Не-а... Леший!

Сергеа-хлыщ был настойчив. А как иначе? Водился за всей Лесопильней грешок, о котором помалкивали. Дело в том, что Управляющий безумно любил рыбалку. Багажник его машины легко спутаешь с сундучком рыболова: леска, крючки, грузила, поплавки... Под разную рыбу, под любой сезон. Единственно, что не укладывалось в общую картину — это крем для интимной гигиены, аккуратно положенный в дальний угол багажника и еще какая-то странная вещица. А так все в порядке. В общем, любовь к рыбалке натолкнула Управляющего на одну прекрасную мысль. Территория за забором Лесопильни болотистая, в самой низине — маленький котлован, поросший травой, с мутной зеленью воды. Там и сям

торчат коряги, прутья металлические. Созвал Управляющий мужиков и предложил им за вознаграждение почистить пруд, чтобы запустить туда мальков и время от времени баловаться удочкой, любоваться пейзажем. За дело принялись скоро. Кошками самодельными вычистили дно, повыдергивали коряги и прут железный, берег облагородили. Даже дорожки мелкой галькой посыпали. Управляющий запустил карпов на размножение. Сварщик Васька Баблак предложил починить старенький компрессор и подавать воздух по шлангу в пруд — для вентиляции и комфорта рыб. Уже в скором времени Управляющий коротал вечера с удочкой, Санек тоже сварганил удище, книг по рыбоводству закупил. Объявились теперь в меню Лесопильни рыбные блюда. Но идиллия продолжалась недолго — до первой командировки Управляющего. Лесопильня загуляла. Даже не загуляла, а загудела. Через три дня в пруду рыбы не стало. Сварщик Васька Баблак с братией наставил морд, сетей накидал. Санек тоже попытался браконьерить: на карачках к пруду подползет, да прямо там, на галечнике, со шкаликом спирта и заснет, только храп слышится... Что не съели, то продали, да и просто испортили. Килограммов шесть карпа стухло, от запаха комары на лету умирали. А как протрезвели ребята, за голову и схватились: рыбы нет, в пруду шаром покати, Управляющий в двух шагах стоит.

– Неандертальцы! — визжал он.

– Да, — соглашались все, не понимая смысла. Но, глядя на перекошенную физиономию Управляющего, догадывались, что слово матерное и очень обидное.

– А ты? Ты куда смотрел? — распылялся Управляющий, тыча кулаком в грудь Санька.

– Дак это... виноват, — морщился он. Внутри полыхало, а денег не было.

С тех пор запустел пруд, обмелел и порос камышом с травой. Над ним — темное облако мошкеры гудит злобно. Мужики чувствовали за собой грешок. Ближе к луже не подходили. Водяного боялись. Кому ж в тине да водорослях обитать, как не ему?

Нехорошее место. Ей-богу, нехорошее. Особенно к ночи...

– Не-а, Леший, — слабо сопротивлялся Санек.

Слесарь-сантехник должен знать сортамент и способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры

А вот Санек с Лесопильни не знает. Зато в скверных делах не участвует и смотрит на происходящее философски. Мало ли что и с кем случается в жизни.

У Сереги-хлыща был друг Хомяк. Приехал он из дальней деревни, где ягель растет на каждом шагу, да зайцы в огородах шатаются. Народ нищенствует, пьет брагу, окурки друг за дружкой добивает. Вот и выклянчил местечко на Лесопильне Серега-хлыщ для земляка своего Хомяка. Тот не будь дураком прихватил с собой родственника Леху Чудова. Поговорил с ними Управляющий и определил их на пильную раму — рамщиками. С месяц дела шли хорошо, но Хомяк — человек думающий. Посчитал он, что Управляющий не прав: ездит на дорогой машине, пьет марочный коньяк, а платит мало, и уговорил он Леху Чудова ночью доски таскать за бетонный забор. Пока все спят. По две три штуки, не более. Для надежности, чтобы Управляющий не заметил. С тех пор стали у них карманные деньги водиться, спирт всегда при себе. Но всему приходит конец, и этот конец наступил с первым снегом. Хомяк с Лехой Чудовым вошли в раж — доска за доской, денежка к денежке. Осмелели ребята, про снег забыли, а тропа пропечаталась к забору, точно штамп в паспорте, — ни скрыть, ни обмануть. Приехал однажды сосед по Лесопильне Пашкин, промышляющий ритуальными услугами, и увидел на своей территории доски, приваленные к забору. Забрался на них, привстал на цыпочки и выглянул: следы вели от участка распиловки. «Ага-а, непорядок у смертных», — подумал он и позвонил Управляющему. Тот приехал, молча походил по Лесопильне, прикинул что-то и укатил. А Хомяк с Лехой ухмыляются, страх потеряли, смотрят на всех свысока.

Ни больше, ни меньше — небожители.

Управляющий время даром тратить не умел. Направился он к своему знакомому — Черпаку, управляющему сетью бань «Дары». Раздавили бутылочку коньяку, Черпак достал вторую и во всех подробностях узнал о нехороших делах на Лесопильне. Почесал лысую голову, высморкался в кулак. А кулаки, надо заметить, у Черпака с полугодовалого младенца и весомые, как загар сталевара. Когда он улыбается, золотой зуб сверкает так, что глаз режет. Через час они объявились на лесопильне. Два управляющих — это взрывоопасная смесь, гремучий отвар из сатанинских грибов... первым рухнул в снег Леха Чудов, закрыл лицо руками и свернулся калачиком, больше по давней привычке, нежели из чувства самосохранения. Хомяк отскочил в сторону и прокричал:

– А где доказательства?

– Сейчас предъявлю, — рявкнул зловеще Черпак и двинул ему в глаз. Тот взвыл. Черпак отпустил удар за ударом в каком-то самозабвении, повторяя:

– Не укради! Не укради! Не приступай клятвы своей!

– А как же насчет любви к ближнему? — попытался разжалобить Леха Чудов.

Черпак задумался на секунду-другую, отступился от Хомяка и саданул в живот Леху Чудова.

– Око за око, зуб за зуб! — пояснил он Управляющему.

Но тут произошла одна странность.

– Пр-р-р!

Черпак замер от удивления.

– Пр-р-р!

Управляющий уставился на Черпака, а Леха Чудов приоткрыл подбитый глаз.

– Пр-р-р!... Пр-р-р!...

Хомяк на полусогнутых ногах, подскокивая от страха и ожидания новых туманов, бежал к воротам. Он то и дело озирался. Черпак даже брови поднял:

– Он что? Пукает?

– Пердит, я бы сказал, от страха, — констатировал Управляющий.

– Ладно, черт с ним!

Друзья-Управляющие рассмеялись и в обнимку пошли к внедорожнику, где на заднем сиденьи царственно покоилась бутылка армянского коньяка.

Вечером, как обычно за складом, Санек с Серегой-хлыщом дегустировали новую партию спирта. Они смачно закусывали солеными огурчиками, которыми угостила их Варька-обмуровка. При взгляде на тяжелый навес облаков становилось еще холоднее, поэтому спирт мягко и тепло разливался по телу, приближая крепкий сон.

– Хомяк, Хомяк. Не рыбачка, не рыбац... — насвистывал Серега-хлыщ.

– Где он сейчас?

– А кто его знает. Рубанул, падла, себе топором по голенищу, забрал документы и скрылся. Вообще-то нормальный мужик.

– Угу. Распиловщик он... этот... ну, как его... вер... втуль... вертуль...

– Вертухай.

Санек раздраженно повел плечом:

– Да нет же.

Хрустнул огурчиком, осмотрелся, будто ища подсказку, и твердо добавил:

– Виртуальный. Во!... Виртуальный распиловщик!

– Что-о-о?

– Виртуальный — значит мысленный, несуществующий, но присутствующий.

– Чего-о-о? — Серега-хлыщ даже перхнулся.

– Ты доски пилишь?

Серега-хлыщ кивнул.

– Пилишь и разделяешь на части, чтобы их купили. Вот и получается поговорка — и волки сыты, и овцы целы.

Серега-хлыщ недоверчиво покосился.

– Жизнь наша, — продолжил Санек, — та же распиловка. Любой шаг — распиловка, мысль всякая — распиловка, молчание — опять-таки распиловка. Бабу клеишь, распиловкой занимаешься: даст или нет?

Последняя фраза Сереге-хлыщу понравилась. Он сладко облизнулся.

– Короче, Хомяк — распиловщик. Но что плохо, друг мой, — виртуальный! — заключил Санек.

– А по-русски нельзя? — взмолился Серега-хлыщ.

Санек почесал за ухом и снисходительно произнес:

– Хомяк зарылся на мелочах. У него мухи в голове. Воровать надо тонко, иначе сам пойдешь на распиловку... бревном. Он тырил не правильно, а значит, виртуально!

– А-а-а! — выдохнул Серега-хлыщ. — Ну и голова ты! Надо же... распиловщики мы.

К ним подошел сварщик Васька Баблак. Он неторопливо закурил, осторожно высморгался в кулак. Санек хмуро посмотрел на его пальцы и отодвинул банку с огурцами. Сварщик Васька Баблак покосился на шкалик спирта. Шкалик тут же переместился к огурцам. Санек громко покашлял.

– А почему Хомяк доску струганную продавал? — спросил Васька Баблак, переминаясь с ноги на ногу.

– Недорого. Тебе-то, Васек, зачем?

– Так. Для интересу.

– Для интересу, — передразнил его Санек. — Для интересу только в школьном туалете за бабами подсекают.

Санек неуклюже оттопырил нижнюю губу и воспроизвел:

– Пр-р-р...

Васька сплюнул под ноги, злобно махнул шапкой и поплелся к своему саку.

– Пр-р-р..., — прокричал ему вдогонку Серега-хлыщ.

Слесарь-сантехник должен знать назначение и правила пользования механизированным инструментом.

А вот Санек с Лесопильни не знает. Зато дворнягу покалеченную приютит и зубы поставил себе новые, фарфоровые, на скопленные деньги. Как говорится — в здоровом теле здоровый дух. О чем не подозревала Альбина, вернее Альпина.

Альпина появилась на Лесопильне просто. Рядом располагался рабочий поселок, там — магазины, в них — продукты и алкоголь. Мужики с Лесопильни посещали эти места с завидной периодичностью, шли, как на проповедь. В одном из отделов и пе-

ресеклись их пути с Альпиной. Она стала заглядывать на Лесопильню, потом задерживаться до полуночи, выпивать, покуривать и слушать анекдоты. Большого себе не позволяла. А имя свое она получила случайно, и оно прижилось. Как-то из-за шума и гула крановщику Паленному, когда его знакомили с ней, послышалась марка бензопилы «Альпина» вместо имени Альбина, чему он сильно удивился. Еще раз переспросил — опять «Альпина». Остальные с удовольствием подхватили, и стала Альбина тезкой бензопилы «Альпина». «Альпина» так «Альпина», — решила она. — По крайней мере, не «Хускварна» или «Штиль» какой-нибудь».

На Лесопильне работал молодой парень Димон. Положил он глаз на Альпину. «Не красавица, конечно, но закрутить можно!» — подумал он и озвучил идею свою Сереге-Хлыщу с Саньком. Они люди уважаемые, с пониманием, перечить и втыкать палки в колеса не станут. Да и под рукой у них всегда есть Варька-Обмуровка, нальешь ей рюмку-другую — и воплощай фантазии в действительность. По этой части большим фантазером оказался Серега-хлыщ, его мозги работали круче немецкой порноиндустрии, даже обгоняли ее, однако лихой полет мысли заканчивался одним и тем же: «кончат надо раком», и все одобрительно кивали. Серега-хлыщ внутренне соперничал с Саньком, который ни о чем не подозревал и соревноваться ни с кем не собирался. А виной такому одностороннему единоборству послужили шарики из оргстекла под крайней плотью Санька, полированные и блестящие. Варька-обмуровка поначалу загорелась, даже смутилась от мысли щекотливой — не давало покоя ей это новшество. Однако, соблазнив Санька, поняла, что шкурка выделки не стоит. Фантазии Сереги-хлыща куда лучше. «Никакая теперь не звезда округи наш Санек-Горбунок!» — злорадствовал Серега-хлыщ рядом с похрапывающей Варькой-обмуровкой... В общем, озвучил им свое решение Димон. Весть такую Альпина восприняла спокойно, все равно, что быстрорастворимую лапшу предлагалось заварить. Тем же вечером Димон

овладел ею, и стали они жить вместе, гражданским браком: с регулярным сексом — для Димона и регулярным приготовлением пищи — для Альпины. Но спокойная жизнь продолжалась недолго. Стали за Альпиной странности наблюдаться: то замолчит на полуслове, то захочет не к месту, то исчезнет куда-то. Димон задумался, попил с неделю и отходил штaketником Альпину. Та убежала к сестре. На звонки отвечать перестала, к дверям не подходила, все под одеялом сидела и гладила округлый животик. А сестра Альпины — Шатура, в честь модного бренда мебели, не скрипящей и безотказной, той самой мебели Шатура, которую мужики неделю собирали Управляющему да нечаянно перепилили боковую стенку, тем временем явилась на Лесопильню, чтобы разобраться в случившемся. Покричала-попричитала да и осталась там. Крановщик Паленый ей приглянулся, не прикажешь ведь сердцу — оно не кухонный гарнитур, не оргстекло какое. И пришлось Димону переезжать из вагончика в общие помещения, где кантовалась бригада строителей-сезонщиков. Паленый повеселел, человеком семейным стал, Шатуру свою Мадонной величает. Димон озлобился на него и побежал к Альпине — прощения просить. Правдами и неправдами разжалобил он жену свою гражданскую, пустила она его, ужин сготовила. Той же ночью Димон овладел ею...

Прошло недели три. Жизнь вроде бы наладилась. Как-то в четверг Шатура пригласила к себе Димона с Альпиной. Паленый сбегал в магазин, Шатура прибрала в вагончике и стол накрыла. Гости припозднились, но компания загудела так, что бригада строителей-сезонщиков полночи слушала песни в исполнении Паленого, который ни слухом, ни голосом не отличался. В общем, Димон с Альпиной остались у них ночевать...

Димон проснулся оттого, что над ним что-то или кто-то нависал. Первое что пришло в голову — галлюцинация. Но тень закачалась, зловеще выдохнула и поплыла к выходу. Димон шатающей походкой — за ней. Скрипнула дверь, Димон шмыгнул на крыльцо и увидел Альпину с топором. Она смотре-

ла сквозь него, будто Димона и не было. Он шагнул навстречу — топор сверкнул над головой. Димон растерянно попятился и упал на спину, зацепив ногой ведро. Оно громко брякнуло, подло поскакало по ступенькам. На шум выбежала полураздетая Шатура. Увидев Альпину с топором и со странной улыбкой, она схватила Димона за руку и затщила в вагончик.

– Тс-с... — прижала палец к губам Шатура. — Я не стала говорить раньше. У нее — шизофрения.

– Яп-понский городской, — вырвалось у Димона. — И ты молчала?

– Не суетись. Сейчас разбудим Паленого и утихомирим ее.

Димон закурил...

Альпину увезли на желтой машине в Банногорскую психиатрическую больницу. В течение двух месяцев она проходила курс лечения. Димон свыкся с тем, что живет с душевнобольной, стал молчаливым. Несколько раз даже ездил в больницу с маленьким букетом гвоздик.

Ближе к весне Альпина появилась на Лесопильне. Она улыбалась и шутила. Паленый косо поглядывал на нее. «Будто ничего и не было, — думал он. — Человек предполагает, а Господь располагает. Вот как бывает». Альпина занялась хозяйством. Димон еле дождался ночи... Словом, жизнь вошла в старое русло. Однако через неделю Димон обеспокоился: с членом начали происходить загадочные вещи. Он рассказал Паленному. Тот был краток:

– Покажи.

– Да как-то...

– Я не западаю на мужиков.

Димон нехотя вывалил свое достоинство.

– Сифилис, — рявкнул Паленый.

– Яп-понский городской!

Через минуту Альпина металась по Лесопильне и кричала:

– Не виновата я! Не виновата.

– Убью-ю, — орал Димон, размахивая штaketником. — Все равно покалечу...

Несколько поостыв, он задумал привести мысли в порядок и навестить Банногорскую психушку. Откуда еще могла взяться

столь нехорошая болезнь? Паленый поехал с ним. Главный врач разговаривать не стал, лишь попросил выйти из кабинета, но Димон применил смекалку: загнал в угол юного санитара и приставил к горлу нож. Глаза его сверкали так, что последователь Гиппократ не стал запирается и все выложил. Оказалось, что в отделении лежал бывший священник отец Исидорий. Стали во время богослужений являться к нему серебряные мухи и гадить на рясу. Один раз он прихлопнул такую тварь. Отец Исидорий понял, что виной тому настоятель храма Гермоген, имевший к нему претензии по линии частных треб. И начал отец Исидорий пакостить ему: то гнусно нагадит у дверей кельи, то фотографии голых баб запихнет в молитвослов, то суп постный козьяками заправит, и целый день ходит, рясу злобно потирает. В общем, упекла братия священная отца Исидория в психушку, чтобы тень на приход не отбрасывал. А тут Альпина явилась. Исидорий понял — неспроста это. «Ведьма гермогеновская», — перекрестился он и завлек девушку в хлеборезку. Защелкнул дверь и принялся халат рвать на ней. Два часа не слазил с Альпины, пока санитары дверь не вынесли и не надавали четками по хребту отцу Исидорию.

— Изыдите, филистимляне! — визжал он. — Изыдите необрезанные!

Но санитары не исходили. Они терпеливо тащили его в процедурную, где вкололи какую-то смесь. Отец Исидорий погрузился в сон, отгоняя слабеющей рукой серебряных мух...

Вечером за складом шумели. Раздавался звук костяшек домино, пахивало свежим чефиром. Сварщик Васька Баблак оправдывался:

— Нету денег. Нету... Но появятся.

— Когда? — шлепая очередной костяшкой по столу, вопрошал Санек.

— Скоро.

— Трепло ты, Васюта. Трепло.

— Должен заказ поступить на оградку могильную. Вот сварю и рассчитаюсь.

— Ты вторую неделю паришь меня заказами.

Васька развел руками:

— Так ведь не мрут, сволочи.

— А ты закажи кого-нибудь, — заржал Серега-хлыщ.

Васек отвернулся. На душе было тоскливо. Никто не хотел умирать.

— О Димоне не слыхал? — зевнул Серега-хлыщ.

— Так, краем уха... Он теперь с Шатурой живет. Они с Паленым бабами поменялись. В деревне дом снимают. Паленый самостоятельно Альпину лечить собрался, а Шатура с животом ходит. Короче, новый лесопильщик родится. Вопрос — на кого смахивать будет?

— Сериал, блин, мексиканский, — кивнул Ваське Серега-хлыщ. — Учись, мужик.

Тот пробурчал и отхлебнул чефира. «Хоть бы какая сволочь душу Богу отдала», — подумал тоскливо Васька Баблак. Деньги сводили его с ума.

— Да, самое интересное, — ткнул пальцем в воздух Санек. — Этот гребаный отец Исидорий в их краях объявился. В землянке кантуется. На отшибе деревни. Церковь свою вознамерился строить. Паленый сказал, что сожжет ее со всеми серебряными мухами.

— Дела, — покачал головой Серега-хлыщ.

— Жизнь, брат. Жизнь.

— А все равно кто-нибудь да помрет! — выдохнул с надеждой сварщик Васька Баблак.

— Дела-а...

Я стою напротив «Столицы». Надо мною покачивается растяжка с надписью «SALE». Мне пора на работу. Ночью бойлера дышат тяжело, водоразбор минимальный. Зато днем водоразбор, как у покупателей — «SALE», потому что те, кто собираются в «Столицу», едят и моют посуду, а те, кто уже в «Столице», сменяют их, вернувшись домой с полными пакетами продуктов. И все повторится заново. Эскалатор поможет оформить иллюзию. Задница начинается с раздевалки. **Круговорот вещей — это круговорот торговых марок:** Мех,

Lacoste, Sela, Naf Naf, Zara, Sisle (я даже выписал на бумажку). Плиточный пол вылизан, отражается в стекле. Надо улыбаться, чтобы верить самому себе. Ты — аксессуар с надписью «Счастье есть, его не может не быть». Это — твой «stile life» (тоже выписал на бумажку). Трубы спрятаны, как кишки в плоть: люди брезгут своими внутренними органами, они требуются только для скольжения по эскалатору. Мне кажется, я схожу с ума. Пора на работу, пора. Пот заглушен парфюмом, пота вообще больше нет. Ведь манекены не пахнут и не нуждаются в туалете. А если так — зачем моя специальность?

После работы я навещу Саньку. У него горе — пропал мобильный телефон. От «Столицы» до Лесопильни рукой подать, тем более на трамвае, где можно купить счастливый билет. И проглотить. «Счастье есть, его не может не быть», — объявит вагоновожатая...

... Так часто бывает: то выиграешь, то на мель сядешь. Где-то с месяц назад, после пропажи телефона, Санек провернул удачную сделку. Выменял старый автомобиль «Волга» на DVD-плеер, телевизор, двенадцать CD-дисков и два сальника от дизельного автопогрузчика «Still R50». Автомобиль заводился плохо, клапана стучали, а выхлопная труба давилась от кашля. Впрочем, это мелочи, главное — сделка, выгодная и настоящая. Сварщик Васька Баблак обещал отреставрировать кузов, а Серега-хлыщ — притащить родственника, который шарит в двигателе, как Николь Кидман в любви. Санек подпрыгивал до седьмого неба. Неделю Лесопильня гудела, отмечая удачную сделку. Даже Палену позвонили.

— Автомобиль — вещь индивидуальная, — философствовал Серега-хлыщ. — Тем более «Волга»!

— Почему? — спрашивали его.

Он глубокомысленно прикрывал веки и растягивал:

— Комфо-орт, понимаешь, комфо-орт.

— Да-а, — улыбался Санек. — Не какой-нибудь телефон...

Но комфорт продолжался недолго: до первой поездки Санька в ближайший магазин за тушенкой и спиртом. Там, у входной двери, развалившись на деревянных скамейках, потягивали пиво местные девахи. Санек заглушил двигатель и врубил песню Владимира Кузьмина «Симона — королева красоты». Минут пять вздрагивал корпус старенькой «Волги», пока Санек наслаждался искусством и смолил папироску. Девахи не выдержали и предложили ему выключить «эту хрипящую дрянь». Санек был последователен: презрительно сплюнул, нащупал под сиденьем пустую бутылку и швырнул ее в сторону несогласных.

— Живете здесь и скопытитесь тут же! — крикнул он вдогон бутылке.

Его возмущал культурный уровень тех, кто обожает Юру Шатунова и ненавидит все остальное, тем более Санек не переваривал хозяина магазина, да и место это причислял к пристанищу всякого сброда, хотя и сам не брезговал ни общением с продавщицей Каткой, ни качеством продуктов.

— Быдло, — поставил точку Санек.

Девахи с криком: «Сука!» подбежали к «Волге», вытащили Саньку за волосы на асфальт и принялись, как попало, колотить его. Санек ушел в ступор, только зрачки бегали туда-сюда в такт большим грудям рыжей девахи. Рядом проходил мужик. Он остановился, покачал головой и, аккуратно поставив пакет, втиснулся в месиво.

— Не правильно мочите, — гаркнул он и отвесил под дых Саньку. — Вот так надо, в живот. Голову не трожь. Повыше, повыше!

И Саньку казалось, что это сам Владимир Кузьмин явился, только с редкими волосами, очень некрасивый и без электрической гитары...

Обратно Санек ехал медленно, без спирта, сигарет и тушенки. Веки припухли, щеки разрослись вширь, будто укол с леодокаином стоматолог вколол. Его одолевало одно желание — вернуться к магазину с монтировкой — и он не сразу заметил «Газель», которую до утра оставил на Лесопильне дальний родственник Сереги-хлыща. А зря... Взамен правого крыла «Газели», бампера

и покореженного радиатора пришлось отдать «Волгу» с последним диском Владимира Кузьмина.

– Комфо-орт, понимаешь, комфо-орт, — долго слышалось Саньку во сне, и он с трудом переворачивался на другой бок...

Но Лесопильня дышала, жила своим неписанным законом. И не важно — рожден ли этот закон из пильной шелухи, человеческого горя или выхлопа над автострадой, что петляет рядом. Распиловка древесины, распиловка породы — хвойной или человеческой. Инь, янь — визг полотна; пил, пьянь — обратный ход каретки. Срез готов. Раз пил — всю жизнь опохмеляйся. Распиловка. День изо дня, в стружке, в телогрейках, с почерневшими пальцами, сбитыми ногтями и загорелыми лицами. Маленький островок, затерянное Гуляй-Поле. Летом — по уши в мазуте и смоле, зимой — со снегом за воротником. Свист ленточной пилы, ругань стропалей и запах вареной картошки в мундирах...

Вчера Санек приколотил на въезде фанерный щит с надписью «Лесопильня». Утром появился Управляющий. Раньше, чем обычно. Он увидел щит, увидел надпись и — от руки черным маркером — приписку: «RU». Санек стоял рядом, сунув руки в карман.

– А черт его знает, — пожал он плечами. — Ну дописали пацаны... Сробим заново.

Управляющий покачал головой:

– Не надо. Теперь ты в Сети.

– Это как?

– Адрес свой заимел в Интернете, — хлопнул по плечу Управляющий. — Читай: «Лесопильня.RU». А ты говорил, никому не нужен!

– Поживем — увидим, — отмахнулся Санек.

Чуть морозило. Снег приятно искрил. День обещал быть хорошим, да и Васька Баблак вернул долги. Видимо, заказ выполнен, видимо, кто-то еще плюнул на этот мир.

Поэзия / Новый эпос

Владислав Дрожащих

ЗЕМСКАЯ НЕДЕЛЯ

ЛИРОЭПОС, III

а ОЗОЛЬ две ночи

лежит в разгуляе и события

с криком летят

ему прямо в штанины

и держат за ПЬЯНЫЕ

кончики пальцев

С момента написания поэмы прошло без малого четверть века. «Земская неделя» — продукт веселой эпохи, великолепно описанной Анной Сидякиной в книге «Маргиналы», — эпохи «бури и натиска» пермского андеграунда.

На первый взгляд никакого отношения ни к идее, ни к сюжету, ни к обстоятельствам написания поэмы эти социокультурные подробности не имеют.

1914 год. Предприниматель Карл Карлович Озоль устраивает пьяный загул в ресторации пермского Разгуляя. Одновременно начинается Первая мировая. Убийство Франца Фердинанда. Кровавая бойня на передовой. Безответная любовь. Смерть.

Автор использует приемы современного кино — жесткий монтаж, чередование крупных и общих планов. Зритель, простите, читатель поэмы постоянно ловит себя на мысли, что все это понарошку, а не взаправду, тем более текст поэмы замусорен рекламой начала прошлого века: трубы, насосы, акционерные общества. Одним словом, в поэме подробно описан капиталистический рай, который живет своей частной жизнью, не видя или делая вид, что не видит, приближающейся войны.

В начале восьмидесятых декорации этого имперского спектакля образца 1914 года казались гремучей архаикой. Кто бы мог подумать, что через несколько лет эпоха «Акционерного общества Густав Лист» накроет медным тазом не только веселую Народовольческую с ее поколением «дворников и сторожей», но и станет самой что ни на есть доподлинной, а не сюрреалистической реальностью.

1

небо, склонное к ожирению
небо, склонное к ожиданию

парады пожарно-блестящих дружин

иерархия кур
эпидемия тифа

опыт воздушной почты: петербург — дальше блестящая национальная муха летит,
я названья не вижу —
– гатчина — национальная муха снова закрыла название —
– млечным ветром несет молодую луну под кронштадтом
в открытое море

в крещение господне в богоугодном приходе выпито
богоугодной водки 54 ведра
а в пасху уже 90

100-дюймовый телескоп в калифорнии
семья пчел живет в бороде пчеловода
а напротив —
шварц-казимирович-копф сидит за столом
страховой агент руководит репетицией ирбитской пожарной дружины
на окраине глаза его

на окраину глаза шварц-не-вспомню-как-дальше-там-копфа вошли:
100 сажен выкидных рукавов, бочка, собачка
мужественные елистраты рябые
грампластинка «сирена-рекордъ» в глиноземной руке елистрата
и рядом с блестяще мокрой дружиной насос «новый челленж»

а сообщение об этом в национальной газете в руке соленоса блестящей:
по случаю затяжного дождя гашение не состоялось

– полфунта ночных курантов
3 писка мышиных франтов
теренции где, кардиналы, миноры и лимонарии
копиапоа, корифанты?
прошли мои мамиллярии!

и дождь не закрыл лица
и дочь не в отца пошла

ой, бедный озоль! от счастья с ума он сошел

а я бы сказал: это в 1914 году происходит

а торговец бы начал:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

2

возрождение национальных мух
мух эскадрилья
ты видишь, ты слышишь?

брюнет проливной
врач фишман (водо-электро-свето-лечебница
в этакой-на-фиг-перми-расперми лечит неврастению, истерию, подагру
и ожирение, первую тройню ежегодно его жена ожидает)
и великолепный карл карлович озоль (отменно скупающий
в вологде масло, отменно женат с четверга на отменной-отменной
она в медленной раме бедра проросла, где пепел
скоропостижных мгновений, надежда
и медленный крик
поцелуев) —

спорят они и спорят о дисковых сеялках
спорят и спорят, а кама сегодня тиха, как надежда
о книге «каждый сам адвокат»
спорят они и спорят, даже чай во рту остывает
спорят и нежно жмут руки друг другу
и циферблаты терпение куют
и муха на маятник села
и плавятся нежно деревья в скрестившемся мраке
двух сбивчивых улиц — ты слышишь? — в ночном разгуляе

и объятый пожаром в клубничном трико
из ресторации шварц-да! — казимирович-копф
на торговую площадь выходит
девять суток подряд

и вертит в руке письмецо

карл карлович озоль ему из вологды пишет: кончились мухи
пришлите отменных личинок. у нас все лавки и склады забиты липучками
нового образца. я послезавтра женюсь

а у человека в счастливой кокарде щеки болят от улыбок
когда мимо озоль проходит
и спорит, и спорит
о КОЛОДЕЗНЫХ И АССЕНИЗАЦИОННЫХ НАСОСАХ, м-ма! открытье мощей
питирима, ценах на клевер — душечка клевер! подагре
и в медленной-медленной спешке отменной
он горло спешит промочить в разгуляе
и вот он под мухой сидит,
а муха диктует ему:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ГУСТАВЪ ЛИСТЪ

он с мухою спорит и смотрит на елистрата через расческу
и тот ему кажется чертом

лондон:

влюбленный шпион своей душечке дарит томик стихов по-немецки

а в них тропинки, ручьи, сигнальные будки

склады запасов

шпионский телефон в улье пасечника

кунгур, бикбарда: луговое, шутемное сено, лесное от 3 до 23 копеек

(эх! — сабли-наголо-повалю-зацелую) за пушистой удали пуд

век просвещения

век освещения:

керосино- и спирто-калильное освещение

заграничные лампы и сетки — в орфехах (ой! дид-ладо) озоль будут

в лиловом аду его опьянения: как баско, мерзавцы,

на каме ревут накануне похода 250 пароходов «кавказ и меркурий»

любимова, братцев

каменных, мешкова

и мертвую славу ревут соленосам!

стереометрическим матом им национальное утро ответит на солеварнях усолья

озоль войной идет на тарелки

доклад об элеваторах делает им на чистейшем узбекском

тошнит бильярдными шарами его

он в кармане у неба нашарил пролетку

вокзалы распроданы!

самоубийство епископа!

епископ за красное ухо озоль в небо ведет

и ветер продувал сквозь красные глаза

и отдельно присутствовал рот

озоль криком кричит:

смерть кассовым аппаратам «националь»!

эй — смердяй-разгуляй-китоврас-синекот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ГУСТАВЪ ЛИСТЪ

МОСКВА

ай! ай!

эй! ай!

гуляй-разгуляй!

сегодня озоль гуляй!

3

купонные книжки

купонные стрижки

русский врачебный кабинет для

консультаций прилежных в колбасно-вальсовОЙ вене (ОЙ, вене веселОЙ!)

венские кофейни с русскими газетами открыты всю ночь

в терпеливом, как китайский

ие- р-

г-л-и

о - - ф

берлине

(Ой, дид-ладо, берлине!)

женщина- вот-ведь-змея

изо-

гну-

ла-

сь

от

л

с е ног й в венский стул и на стуле сидит, и читает себя

з до те

на себе-над собой-за собой-вне себя-

всю себя

как китАйский иероглиф

фаэтоны, фиакры, ландо. далеко-далеко «... сомме а la guerre»

извините, скажу, бедный-бедный озоль сидит на вершине горы каленберг

мост цепной

как собака

купонная драка

кофейня «ню-йорк» опустела

а озоль все спорит, он спорит и спорит

он в земстве нижних ветров выступает:

с ходатайством о переводе на татарский язык противопожарной литературы

о пользе чертей при заточке хвастливых ногтей удлиненных

о пользе очков и пенсне из нежнейших проломленных розовым хреном

и мыслящих лунно извилин

он держит — шатается — речь. он держится сам за последнюю букву:

о нападении турецкого флота на города!

о беспричинной курчавости мата — национальном пороке!

пасынки солнца
 вас заливало волной
 вас засыпали вопросы
 вас засыпали землей
 вас записали в матросы

обличение немки-зверя в газетах
 озоль извозчика бьет за то, что он не австриец

новая английская пушка по производству сумасшедших
 озоль вычеркивает «кельнский собор» из газеты
 и от ярости плачет

озоль ударился лицом о красный закат, остановился — ищет глазами, где муха

циферблат, онемевший от ужаса, вытошнило механизмом
 гербарий
 суровых ратников пришит к брустверу — ряд-в ряд-в ряд —
 где мычащей гекатомбой завален, как огонь давида, завален — ряд-в ряд-в ряд
 скрученных пшеничных голов — ряд-в ряд-в ряд —
 обернувшихся на писк ребеночка-сфинкса

время застыло в жилах
 молитва лошади
 здесь даже у воздуха заражена кровь
 атака убитых еще позавчера
 кровоизлияние в закат

синеплан
 моноплан-синеплан!
 французский воробушек бурно-бесстрашно таранит беременный громом гробов «цеппелин»

взгляните по-птичь:

система окопов — система приличий —
 цементированные рвы — траншейные параллели —
 зигзагообразные подступы и переходы сквозь дождь кровотока на востоко-луну

передать по цепочке, по живой цепочке, по мертвой:
 это все рукоделие черта
 землемерие математического людоедства
 и подземная шизофрения. крысиный тот год —
 от лазаретной крысы до аргоносских высот

кружится голова «цеппелина», а в ней
 быстросекущий винт моноплана кружится все красней
 внизу
 кружится неизвестность

над которой кружится крик
 а в крике кружится местность:
 схватка-солдат-штык
 пометкой на книжном блеске
 полей — SIC!

миллион немцев в 30 верстах от парижа

мертвые немцы в окопах стоят без царапинки, волосок к волоску
 лазарет к лазарету —

«мы будем жить
 мы будем жить
 мы будем

мы будем жить» — но мы будем жить, пока не дозреет надежда без слов
 назарет. бойня богов

«мой милый, хороший... тебя на заре мы поженим»

лазарет имени метерлинка и кооперативных учреждений
 гуллиВЕРНОСТЬ в почете
 койка имени заключенных
 койка на эшафоте

а после — ночная попойка когда-то любимых
 и столько солдат до посмертного взгляда любимых
 обычай корпеть ледниками презрений, встречая когда-то любимых

а дальше — ты слышишь, ты слышишь? —
 их нет, кого любят без поцелуя
 без ветхого света величья

ты слышишь, ты слышишь?
 дальше их нет
 на снежном ложе величиной со слово «нет!»
 но они не меняют обличья

дальше война или праздник ночных новобранцев и танцы
 а утром раскаянья каменный кал, но для них есть дорога святых оправданий
 есть армия тихих спасений
 утром дорога к своим, что заплакана вестью осенней
 что да про что? но она не война, а уже потрясенье
 утром дорога одна, но она влюблена и, как проститутка партнера, их ценит

братская юность для них, новобранцев ночных —
 учитель пения
 учитель черчения
 учитель терпения

озоль,

ты слышишь?

до наступленья

осталась затычка одна и еще полкисета
прости, в исправительной нежности этой
я останусь с тобой, милый мой, до наступленья

рассвета

ты слышишь, ты слышишь?

летал, смелый,
за миг до смерти

—

летальным стал
смертельно устал

концлагерь первой любви
повешенная надежда
война терпимости

5

озоль прячется в погреб. и у объездчика бляху крадет
а потом на рогожке со страху с объездчиком пьет
ты слышишь, ты слышишь!

горе горевали — пир пировали
ту — ? или земство на позициях
чай. сахар. соль. поют санитарки
сползлись любить брюхоногие. танцуют в воздухе поезда

ты слышишь, ты слышишь?

в ночи исчезая, прозрачна по грудь, меня не забудь

ты слышишь, ты слышишь:

вильгорт плачет от горя. эн от измены
прозрачные пальчики в огненном горе воздев
горе сжигает соломенных вдов

первый георгиевский кавалер —
и мухи на ранах и венах

запрещены шизофрения и вывоз лошадей
и бедного озольа масло (под видом злохитрых научных идей)

изобличена в сокрытии меда и двух голых девиц национальная борода
а на прогрессивно-стремную лысину — нет полевого суда

Я уже предръшил навсегда
воспретить в Росси казенную продажу водки». николай.
с разрешенной бородкой

за ночь в лужах дома утонули
а на невском витрин отраженья
дядю озольа флюсом стоносым раздули
он с утра карбонарий ужасный. отражает руками он пули

казаки в походе с поднятыми пиками
да диль-диль пиками, да ладу пиками
а обратно с криками. обратно с криками
да диль-диль с криками, да ладу с криками

1 октября над крупповскими заводами, спеша, появились французские летчики
спешились бомбы

рождественский броненосец «ЯСОНЪ»
в европу спешит
с подарками детям. все-всем. пускай примирятся германчик, бельгийчик,
австрийчик и зайчик

с ходатайством земство спешит: об уступке — э-э-э — одной жилы
в кабеле — э-э-э — через каму
для связи с оханском

а вот и счастливый звонок:
ветеран лазаретный вещает
о действии желтой серы на истребление
насекомых на теле и одежде
нижних чинов

отрезанной конской ногой награжден — о-е-ей, вот мы какие! — бес-
страшный

страшила ночнов

озоль спит злообразный. запрещенной парю пустяков
мух во сне избивает и запятые
на ветках цветущих старофранцузских стихов

озоль в электротeatре сна неизвестной природы:

пермские подушечные заводы

подушки для военного ведомства
подушки для морского ведомства

стальные мухи — (полевых мух-легких береговых-легких полевых мух с
поршневым затвором.....)

подушек стальных с диафрагмой.....)
 фугасных и броневойных
 сегментных мух

пух на середину камы летит

озоля бурно тошнит в разгуляе
 над ним в золотых шароварах стоит николай:
 озоль! не пей»

мертвые немцы в окопах стоят и над озолем плачут
 озоль, озоль безбрачный!

ЧТО-ТО ДОЛГО НЕ СЛЫШНО ГУСТАВА ЛИСТА

6

теренции где, кардиналы, миноры и лимонарии
 копиапоа, корифанты?

прошли мои мамиллярии!
 улица моя широкай-йе, да йе-йе-йе!»
 ай-ай
 эй-ай
 бедный озоль гуляй!

жил поэт Синеплан
 синебежал
 синелетел
 а потом Синеплан — на аэроплан
 красноупал
 и стал
 бел

жил еще
 Елистрат
 очень и всю елистрат
 елистрат в елистрате сто крат, хотя совсем один елистрат
 елистрат-ЕЩЕ у него в душе
 елистрат-УЖЕ к нему подошел
 в мертвецы ушел елистрат — он мертвец-УЖЕ
 а в певцы пришел елистрат — он певец-ЕЩЕ

а где был синеплан — избивал мух
 а где был елистрат — избивал мух
 а потом в окопы попал
 елистрат и стал неслух-дух

а в то черное лето самый медленный снег пошел
 на самых медленных лицах он не таял никак уже даже в звательном падеже
 самый медленный снег — он как срок-УЖЕ
 самый медленный снег — он как свет-ЕЩЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 ГУСТАВЪ ЛИСТЪ

МОСКВА

ПОЖАРНЫЯ ТРУБЫ
 СЪ ПОДОГРЪВАТЕЛЯМИ

лучших усовершенствованных
 конструкцій

7

60 ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ въ Россіи
 и за границей

алое облако. снежная кафедра
 эй, ученая нежность моя!
 эй, кролик!
 ты так холодна ко мне * (стоит ли * впрочем) как вопрос посередине листа
 как звезда орионских отточий

*** доброй ночи тебе!
 доброй ночи *

озоль спит в разгуляе, обобраный в клочья
 встает, покупает насос и 60 самых высших наград
 и сует их жене ой-е-ей — в живой простыне
 под малосольный нос:

— озоль! какой ты лохматый
 — а ты красивая

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ФИШМАНЪ отецъ и сынъ

(скупаю сухие рояли с керосиновой пропиткой
 на случай пожара сообщите открыткой)

мы были без текста

а платья без роли
 пурги баркарола. он пьет тебя голой... ЕЩЕ
 наши губы целуются врозь, и день болен еще
 щеки болят от улыбок. милая нежность моя,
 где мы были тогда,
 в ком тогда мы друг друга любили

а озоль всеспящий, зеленые щеки, накинув пониток с чужим документом
 сидит в разгуляе УЖЕ
 полкопейки о валенок чистит:
 – беленькая, но маленькая,
 черненькая, но зато большая...
 божьим слугам с китайской бородкой
 он с похотью внемлет

надписывает бутылки, готовится к святкам
 ему омерзителен бах
 он все спорит и спорит
 он с фишманом спорит. тем более тот говорил
 что порядка не будет

в борделях

бедный озоль. ты слышишь?
 небо, склонное к башням

с кем твое чудо, с кем твое имя?
 озоль бедный, ты с ними

под чужим документом озоль стал комендантом ада
 данте стал комендантом. брат запретил брата

на самых медленных лицах в самый медленный день
 тень-УЖЕ зацвела и ужаснулась тень
 на запрещенных лицах. тень-УЖЕ или свет-ЕЩЕ
 на самых медленных лицах в самый медленный день, я хочу, чтобы снег пошел —
 чтобы исчезла тень

8

ПОЖАРНЫЯ ТРУБЫ

озоль с чужим документом, а на лице тень
 озоль

синезабрит в солдаты
 синезабрит в елистраты
 в солдаты забит

в мертвецы забрит

лучших усовершенствованных
 конструкций

60 высших НАГРАДЪ въ РоссІи
 и за границей

статистический снег пошел
 и закрыл уже семь жертв

а потом сто тысяч УЖЕ
 и сто тысяч ЕЩЕ

озоль бедный, ты слышишь?

уже и еще сто тысяч

и весела, как виселица, с горбушей танцует

запрещена арифметика
 запрещен снег
 запрещено называть

9

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВЕТРА

вчера разрешен пожар

озоль, не спи!
 а озоль: все будет орэвуар!

ПОСВЯЩАЮ МОИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДРУЗЬЯМ:
 для списка имен бронирую 4 миллиарда страниц

1986

Владислав Дрожацих

«Земская неделя»: спустя 24 года

Лирика и трубы

Я давно хотел написать крупную вещь, в которой совмещался бы исторический масштаб и лирические переживания. Для сюжета и композиции нужны были конкретные факты и точные детали. Я стал ходить в Горьковскую библиотеку, читать подшивки старых газет. Там-то я и наткнулся на местные издания 1914 года. Обнаружив слово «Разгуляй», я решил читать все — начиная от рекламы насосов и труб до сводок с военных действий Первой мировой.

Место: Разгуляй

Одно из центральных мест поэмы — Разгуляй. У меня с ним связаны два ярких детских воспоминания. Одно — когда я бы совсем маленький: стою напротив особняка Грибушина («дома с фигурами», как его назвал Пастернак в романе «Доктор Живаго») и ужасаюсь исплинским головам на доме. Второе — когда я был уже постарше: прогуливаясь, я подумал, что через это место обо мне узнают далеко. В девяностых во дворе этого особняка располагалась типография «Литера», в которой были напечатаны мои первые две маленькие книжки — «Небавоскресенье» и «Блупон». Перед этим познакомился с американским филологом-русистом Джеральдом Янечком, которому в штат Кентукки я и отправил свои книги.

Муха

Поэма начинается с кинематографического эффекта: муха ползет по газете и мешает читать газету. И создается такой визуальный эффект: автор, а за ним и читатель, одновременно являются и наблюдателями, и наблюдаемыми.

Персонаж: Озоль

Про Карла Карловича Озоля я прочитал в заметке газеты начала позапрошлого века. Там говорилось, что некий предприниматель Озоль, который приехал в Пермь из Вологды, устроил в ресторации Разгуляя загул. И в этой же газете сообщались подробности начинающейся войны.

Включение всего

Я мог быстро настраиваться на эмоциональную волну. Но перед этим тщательно готовился. Так, в поэме зафиксировалось все, что попадало тогда в мое сознание. Я работал по принципу «включение всего». Например, мог взять в гостях любую книгу и записать первое попавшееся предложение или обрывок его. Из таких записок в поэму вошел кусок, оказавшийся кстати: «реограмме) цунами фиксируются многими станциями, расположенными на противоположных берегах». Возможно, это были магические совпадения. Начинаящий тогда молодой поэт Дима Долматов спрашивал: как писать стихи? Я ему советовал захватывать все, что тебя окружает — от обрывков разговоров до случайно пришедших в голову мыслей. Но не обязательно потом все это использовать в стихотворении.

Персонажи: Елистрат, Синеплан

Одного из этих персонажей я увидел на черно-белой фотографии в газете 1914 года и дал ему имя Елистрат. Другой герой поэмы — Синеплан — появляется вслед за самолетом. Мне захотелось раскрасить черно-белые газетные фото. Поскольку у глаголов нет цвета, пришлось их выдумать. Так появились слова «синеплан», «синелетел», «красноупал» и т.д.

Язык войны и мира

Поэма была написана верлибром, но с вкраплением рифмованных фрагментов — ритмических вспышек, которые возвышали «прозаический» текст. Иногда язык поэмы становился сюрреалистическим. Но ведь когда перед твоими глазами встает кровавая бойня, ты начинаешь говорить как сумасшедший. Но эта речь гораздо точнее передает ужас войны, чем репортаж журналиста. В поэме есть примитивные куски — это куплеты, которые глупее, чем даже язык эстрадных песен восьмидесятых.

Народовольческая

Поэма была написана быстро — за несколько дней. Первый раз она была прочитана 14 января 1986 года в мастерской художника Вячеслава Смирнова на улице Народовольческой. Этот период пермского андеграунда отлично зафиксировал фотограф Андрей Безукладников.

Свердловск: Курицын

В середине восьмидесятых поэма попала в Свердловск. Тамошний поэт Роман Тягунов перепечатал рукопись на электронной машине. Он то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что поэма «хорошо расходуется на вечерах поэзии среди молодежи» и что он наторговал аж на «пять тысяч рублей». Через него поэма попала к Славе Курицыну, который был тогда редактором экспериментального издания «Текст» (печатался в журнале «Урал»). Он предложил опубликовать там поэму, но заплатив за нее не как за поэзию, а как за прозу — поэма была большой, а стихи оплачивались выше прозы. Но эти замыслы не были воплощены — Слава переехал в Москву.

Написать будущее

Если человек пишет стихи не ради признания, он вступает в особенные взаимоотношения с поэтическим словом — начинает жить так, как написал. Я часто проживал собственные тексты. Например, через много лет после написания большого стихотворения «Круговые услуги», я стал попадать в описанные мной города. Так, в Берлине я случайно оказался на Унтер-ден-Линден в ресторане Корсо, о котором вычитал из газеты 1903 года еще в Перми.

Проза / Коротко

Сергей Стаканов

Оставь красоту нетронутой

Эхо самоубийц

Самоубийцы — среди нас. Обрывки тонкой материи, нерастворившиеся в астрале. Невидимые руки, манипулирующие сознанием живых зомби. Уродливая явь питается их латентным желанием, картонные декорации мира оживляет их некартонная тень... Жги их, травы, преследуй! Шурша осенней листвою, шелестя прозрачным крылом, они распадаются — на миллиарды отвратительных спотыкающихся насекомых, на миллиарды твоих спешащих в никуда мыслей...

Если подумать мозгом

Если кто-то говорит — я подумаю, то думать он не будет. Он оторвет свою задницу от дивана в последний момент. Спрашивается, чем этот перец занимается в остальное, оставшееся до наступления страшного суда, время? Он думает, но думает он не мозгом. Он думает телевизионной блевотиной, окутавшей мозг. Пробегая мимо тебя в офисе, он говорит — я в процессе. Не в рабочем, отнюдь, — в процессе потребления. Все как бы на минутку с трудом отвлеклись от некоего любимого дела, суть которого трудно ловить той единственной извилиной в их

А сейчас **Я ВИЖУ**

ТОЛЬКО тень.

Тень, которая **длиннее**

ТВОЕГО платья

долбаной башке — все застила телевизионная жижа. В чем же дело? Как заставить этих козлов работать? Да никак. Они так хотели сниматься в порнухе, да вот только жопой не вышли. Мозгом, к сожалению, тоже.

Култ Баблоса

Просто мы ходим в разные бары, беби. И если тебе отмерят — бабок, вина и любви, помни: важно не количество качества, а качество количества. Не усекла? Чем шире поляна, тем чаще на нее забредаешь. Поэтому там ни хера не растет. И если ты не найдешь грибов, это не значит, что нет прихода. И если в твоём храме царит дух баблоса, значит, где-то рядом накрыта другая поляна.

Взатык

Когда летишь в самолете — все взатык. Пепел падает сам, его не нужно стряхивать. Мир завихряется в воронку, но ты не тупишь. Все взатык. В супермаркете и газете, в тарелке телеобезьяны и кучке кошачьего корма — полный затык. В Союзе Бывших Писателей — Союз Бывших Читателей. На полках — мордастые корешки. Мечтая об оранжевых сапогах и поилке для мышей, разгребая густой зимний воздух и роняя лицо в электрическую витрину — не дергайся. Оставь гребаную гармонию послушным козлам, оставь — вонючим экстремистам. Оставь красоту нетронутой. Еще парочка миллиардов нерожденных дебилов. Еще — не полный затык...

Старая газета

Старая газета, придавленная плечом нелюбимого мужа, — твоё будущее, baby. Закопченный потолок в кухне соседа и звезды, дышащие в затылок. Привычный душ в незнакомой квартире, — вчерашний труп, скупающий в кресле-качалке...

Недоделанные ведьмы

С недавних пор стал замечать, что меня окружают недоделанные ведьмы: спившиеся хиппушницы, неосознанные бляди, плачущие позтессы. И какая муха залетела в их колыбель? Тоска по ушедшему матриархату, гребаная виртуальная матрица, накрывшая невъебенную земную пизду? Их вечный лирический ковбой, несущийся куда-то в жопу? Зря. Колдовские чары рассеялись, и у блядской сказки нет конца. Лишь проблеск далекой зари и близкий комариный укус — тщетное заклинание волдыря на пока еще нежной коже.

Призрачный рингтон

Мне надо куда-то срочно ехать, и я собираюсь в лихорадочной спешке. Вещи, деньги, документы, не купленный еще билет... И вроде я был уже в поезде, но что-то сорвалось, и я то ли на старом железнодорожном крытом перроне, то ли на полуразрушенной станции метро пытаюсь догнать уходящий состав. И понимаю, что все здесь уже чужое и мне непременно надо было быть в этом вагоне... И в эту подземку уже спешат какие-то неотвратимые захватчики, какой-то запыленный карательный патруль, я понимаю, что это немцы, просыпаюсь, оттого, что у меня играет рингтон на питерском телефоне, который молчит уже больше месяца, а на экране я вижу фамилию своей подруги из прошлой жизни... И просыпаюсь еще раз...

Сестренки Урбант

В 2015 году на пляжах Майями всем заправляли сестренки Урбант — дохлой рыбешки не унесешь. Солнечные были деньки: затылки грели свинцом! До сих пор здесь находят полицейские бляхи, а любители пожариться на песочке то и дело упираются в задницу кости зарвавшейся портовой шпаны...

Чужих обматывали бубльгумом и вставляли в жопу велосипедный насос. Сестренки Урбант называли это — «посадить на резинку». Раздутые белые шары, кувыркающиеся по ночной волне, приводили маленьких негодяек в настоящий экстаз. Кажется, то же самое испытывал человек-амфибия, когда впервые забил на океан. Тот еще приход...

Тень длиннее платья

Это было давно, когда песни еще разделялись на медляки и быстрые. Хотя, что значит

давно, время — это бесконечная вермишель, просто надо не забывать изредка снимать ее с ушей. Но я завелся, и этот гребаный менторский тон, как наваждение, как первый пьяный поцелуй в засос — почему-то на кладбище. Ты вышла, хрен знает в каком платье, и завели медляк, и вот этот медляк длится уже всю жизнь. А чувства, словно подошва дефицитных тогда кроссовок, навсегда впечатались в мою память. И все эти песни группы скорпионз или отель калифорния... Все они были хороши на вечеринке в школьной столовой. А сейчас я вижу только тень. Тень, которая длиннее твоего платья...

Любовь Мультменко

Алкогольные новеллы

Документальный проект о философии и мотивации питья.

От автора

Алкогольные новеллы — цикл из десяти коротких пьес, каждая из которых иллюстрирует конкретный жанр «выпивания». За этим текстом стоят интервью с реальными людьми — от недавно дебютировавших школьниц, которые тайком распивают «Ягуар» по подъездам до бабушки, ветерана труда, которая уважает одну только «бражку», ну и «красный вермут» еще, в порядке исключения. От рабочего, с которым по пьяни происходят чудеса (например, аиста он встречает на пустынном речном берегу) до двух друзей-травокуров, которые в чудеса не верят, зато ничего и не боятся, и им не обидно умереть в 30 лет с перепоею.

Все эти люди с разной степенью откровенности рассказали мне — что, с кем, сколько, как часто и, самое главное, зачем они выпивают. Какую душевную реакцию катализирует в них алкоголь. Страшно ли им пить. Как они ощущают переход из трезвого состояния в нетрезвое и обратно, добреют или злеют. Как работает под воздействием алкоголя их память и совесть, отключается ли инстинкт самосохранения.

Есть несколько загадок, которые хочется разгадать. Например: быть алкоголиком стыдно, а быть выпивающим — обаятельно.

Мой первый секс был

по пьяни. Это когда я уже

в Березниках училась,

Очно. У меня там друг был,

мы жили с ним в общаге.

Если человек не пьет вовсе, о нем думают, что зануда, либо что идейный ортодокс. Это как с «ботаниками» в школе — пока народ гуляет, этот придурок учит урок, и жизнь проходит мимо. Получается, что ты, отказавшись от алкоголя, тоже в некотором смысле вне жизни или, по крайней мере, вне какой-то ее части. При этом некурящего и не употребляющего наркотики судят иначе: значит, пьянство, единственное из вредных привычек, не расценивается строго негативно?

Тоже важное: алкоголь — работает как алиби. Всегда можно отмахнуться — пьяный же был. Это касается не только хулиганств-дебошей, но и проявления чувств, внимания, той сентиментальности, которой стесняешься в себе трезвый. Люди боятся себя навязать. Алкоголь эту проблему снимает. Алкоголь — карт-бланш, способ побыть откровенным на халяву, с уверенностью, что тебе за это ничего не будет. По-

нарошку ведь, несчитово. У этой волюшки, впрочем, есть обратная сторона — раз несчитово, значит, у тебя нет ни единого шанса совершить действительный поступок, акт. Пьяное признание в любви получается девальвированным.

Таким образом, алкоголь, с одной стороны, дает ощущение свободы, полноты бытия и шанс делать то, что хочется, а с другой — черт его разберет под градусом, чего там тебе на самом деле хочется, и как быть, если ты не можешь ничего сделать всерьез. То, что испытываешь под алкоголем — это, конечно, мнимо, но ведь при этом здесь и сейчас оно кажется тебе правдой из правд, ты можешь быть по-настоящему счастливым и необычайно остро чувствовать жизнь в себе. Остановись, мгновенье. Я как раз и пытаюсь — вместе с интервьюируемыми — его остановить, восстановить и сформулировать, это неуловимое пьяное мгновение.

ПЕРВАЯ НОВЕЛЛА РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

МАША

22 года

Вышла замуж

Изба. Кухня. Длинный стол. Девушка Маша усердно чистит картошку. Рядом на плите что-то варится в двух больших кастрюлях. В сенях скульпт собака. Маша берет миску с молоком, несет в сени.

МАША. (из сеней). Тайга! Тайга, фу! Че ты как эта опять. Зассанка.

Маша возвращается из сеней без миски, но с тряпкой. Вытирает руки о фартук, садится за стол, по-бабьи подпирает щеку рукой. Пододвигает вперед фотографию в розовой рамочке — на снимке Маша, Максим и щенок лайки.

МАША. Вот, собаку взяли. Тайгу. Будет на охоту с Максом ходить. Вон у Сысолятиных тоже лайка. Найда. Вообще умная. А наша, че-то не знаю, такая дура. Не знаю, поумнеет потом или че.

Маша подходит к плите, снимает с одной из них крышку, пробует, солит.

МАША. Щас эти придут и все сожрут. Сегодня же пятница, все приходят. К Максиму парни

приходят (*входят парни, с водкой и закуской, садятся за стол, привычно накрывают поляну*), а ко мне девчонки. Танька (*входит Танька, с сумочкой и пакетом, садится с другой стороны стола, достает полторалитровую пива, разливает в чашки*). Мужики все лопают, как я не знаю. Гуляш сготовила, суп, две кастрюли — они за полчаса все стрескают, под водочку. А нам с Танькой че, поклевали малеха — да и ладно.

Маша садится за стол рядом с Танькой, пьют.

МАША. Пива попили, нам дало, а там можно и кости девкам другим помыть.

ТАНЯ (*как по команде*)... и вот, короче, прикинь, Маринка-то у Сашки вообще. Он приходит, такой, с охоты, в три ночи, будит ее: «Иди, свежуй лося!». Прикинь?

МАША. И че Маринка?

ТАНЯ. Че! Идет, свежует, че.

МАША. Я бы не стала.

ТАНЯ. Так и я была не стала. Вообще.

МАША (*в зал*). Полторашку на двоих примерно выпиваем и едем в «Лагуну» (*Танька достает из блестящей косметички карандаш, начинает подводить глаза*). Это у нас кафешка. Или в «40 градусов». В кабаках я тоже всегда пью пиво. Пива можно выпить бутылок... дцать. Я вот когда сижу, засыпаю, то мне мало надо, я могу с 3 бутылок улететь. А когда мне весело, прикольно, я выпавшаяся — мне ЛИТРЫ надо. Я могу пить, пить, пить, пить, пока у меня не полезет. А водки? 0,7 на двоих мне хватает. А вино — я как бы это так, мне не нравится. Невкусно. А парни как-то дома больше. Когда вместе пьем на праздники, постоянно херня всякая приключается. Вот в том году в Новый год. Мы уехали на дачу. Максим отравился, как всегда, водкой. Блевал. Весь Новый год. Полночи. У Максима печень уже не работает на водку. Одна девчонка до того напилась, что поссорилась со своим френдом. Бой-френдом. Он уехал куда-то на машине, провалился в пруд (*смеется*). А она ушла пешком по пруду в неизвестном направлении до дома. А это идти 5 километров (*смеется*). По пруду! Метель ведь. В тот Новый год вообще метель была. Ни фонарей, ниче нету. Я ее, как могла, останавливала, а потом плюнула на нее. Иди, говорю, куда хочешь. Достала ты меня уже. Пацан у нее потом приезжает такой: где Ирина? Я говорю: ушла твоя Ирина. Он ее после этого отпиздил. За то, что она ушла. Она всегда на рожон сама лезет. Она пьяная была. Она бы че, пошла трезвая?

ТАНЬКА (*показывает Маше макияж глаз*). Че, ровно? (*Маша кивает*) Дай блеск.

Маша достает из своей косметички блеск для губ для Таньки и тушь для себя. Распускает волосы, снимает фартук. Красятся. Встают готовые.

Клуб «Лагуна». Звучат хиты 90-х. Маша, Танька и парни сидят за столиком.

МАША. Самая хуевая пьянка у меня была, когда я телку одну отпиздила. Не ту. Я подумала на другую девку, она похожа просто на нее. Которую я давно хотела отпиздить. Приехали в «Лагуну», а там пацаны наши бухают. Мы к ним подсели. И че-то эта девчонка все к нам за стол норовила, все лезла к нам, короче. Все с ней не разговаривают, посылают, типа ты здесь никому не нужна. А она все равно лезет и лезет, лезет и лезет. Потом, из-за чего не знаю, началась мужская драка — там полетело все. Даже в меня стул прилетел, или стол ли. Я изогнулась, села под стол. Все, я в домике (*смеется*). Было очень страшно. Потом все это утихомирилось. Приехали менты, че-то там давай всех опрашивать. Ну все разладилось, менты уехали. Мы сели снова пить. Сидим-сидим. Пора домой. Стали выходить — эта девка опять прыгает. К нам. Я ее за шварник: ты, сука, заебала уже меня.

На тебе в рыло, короче. Она упала. Я, короче, хуярю ее — меня оттаскивают. А Максим думал, то что меня хуярят. Подлетает — как давай тоже на нее. Ну он ее не тронул, как бы, он девок-то не бьет. Вот. Ей опять мало. Я подлетаю: на тебе с ноги опять! Она в забор улетела. (*смеется*). Не сказать, что я хорошо дерусь. Я не спорю, есть сильнее девки, конечно. Но я, как бы, стараюсь не связываться все-таки ни с кем. Просто если уж заебала — так заебала.

ТАНЬКА. О-о-о, Маша, ты молодец, она нас тоже всех заебала.

МАША. Так пиздили бы, хули на меня-то смотреть. Меня заебала — так я отпиздила. Вас заебала — так вы сидите, вам хорошо. (*в зал*) Ну это еще, конечно, то что я пьяная была. Я когда пьяная — мне море по колено. Могу пуститься в пляс. Как я зажигала на шесте! Трезвая я никогда не буду танцевать. Потому что... я не смогу даже, у меня не получится.

ТАНЬКА (*заговорщицки*). А секс у тебя был по пьяни?

МАША (*кокетливо*). Мой первый секс был по пьяни. Это когда я уже в Березниках училась, очно. У меня там друг был, мы жили с ним в общежитии.

Общезаг. Вечеринка. Маша стоит в центре комнаты, подняв руки. Подружки обматывают ее простыней, надевают на голову занавеску, как фату.

МАША. А я ему обещала: когда мне стукнет 18 лет, тогда я это. Типа лишусь девственности. Мне без разницы, как бы, но я хочу в 18 лет. Испытать, что это такое. Вот. Ну, короче, это, как раз перед моим днем рождением был у нас день Святого Валентина, и там, короче, разыгрывали сценку. Там как бы программа, все, была, поздравления всякие. И надо было, как бы, наигранно сыграть свадьбу. И выбрали пару как бы: меня и его. Лешку.

Машин подвенечный наряд готов. К ней подводят жениха Лешку. С ними свидетели, на груди у них парадные ленты из цветного скотча. Перед брачующимися — регистратор с книгой в руках. Все топчутся на месте и хихикают, свидетельница перешептывается о чем-то с Машей. Их окружили ребята — гости.

РЕГИСТРАТОР (*сдерживая смех*): Уважаемые Алексей и Мария! В этот замечательный день вы станете мужем и женой.

МАША (*Леше*). Ну че ты ржешь?

РЕГИСТРАТОР. У вас будет эта, ячейка общества.

ГОСТЬЯ. Цветы, цветы забыли! (*подбегает к Маше, сует ей в руки цветок, сделанный из салфетки*)

РЕГИСТРАТОР. Готовы ли вы, Алексей и Мария, любить друг друга в горе и в радости, в богатстве и бедности...

ГОСТЬ (*подсказывает*). Пока смерть не разлучит вас.

РЕГИСТРАТОР. Пока смерть не разлучит вас! Алексей, ты согласен?

ЛЕША. Типа того (*смеется, Маша шутя бьет его локтем в бок*).

РЕГИСТРАТОР. Теперь... Че теперь? Обменяйтесь кольцами!

МАРИЯ. А я? А че меня? Согласна-нет?

ЛЕША. А тебя вообще никто не спрашивает!

Маша, якобы в гневе, бьет Лешу бумажным цветком по голове — цветок ломается. Она отбрасывает его в сторону. Цветок ловит гостья и радостно машет им — типа букет невесты.

РЕГИСТРАТОР (*сквозь смех*). Мария, ты согласна-нет?

МАША. Согласна.

Свидетели выдают Маше и Леше пластмассовые кольца из киоска Роспечать на подушке для сна.

РЕГИСТРАТОР. Меняйтесь!

Леша надевает кольцо на палец Маше. Маша пытается надеть кольцо Леше, но оно не налезает.

МАША. Че сосиски-то такие отрастил?

ЛЕША. Я еще и не то отрастил.

Все смеются. Маша надевает Леше кольцо на мизинец.

РЕГИСТРАТОР. Объявляю вас мужем и женой!

Гости начинают аплодировать и нестройно петь вальс Мендельсона.

ГОСТИ. Горько! Горько!

Маша и Леша целуются.

МАША. Иии... После этого, как бы, после регистрации, как бы, получается, должна быть пьянка. А потом брачная ночь (*смеется*). Мы с ним ушли в комнату (*Леша начинает размазывать простыню на Маше*). Ну, он ушел, я уползла. Он-то в нормальном был состоянии, а я вообще в нулевом: мне плохо, мне блевать тошнит. Но мы все равно переспали (*затемнение*). Я даже не почувствовала ниче. Как мне сняли целку. Нет, я помню все, просто я не почувствовала ни боли, как обычно говорят: больно, кровь там. А у меня не больно, ниче. Как будто я вообще никогда не была девственницей.

Снова светло. Маша лежит голая на полу. В комнате никого нет.

МАША. Я никогда не признавалась в любви. Хоть в каком состоянии. Если я знаю, что люблю человека, то я признаюсь только после того, как он мне признается. Даже с Максимом у меня была такая хуйня. Он в меня влюбился первый. А я в то время любила другого. Но я с Максимом... стала... встречаться... чтобы забыть того. Потому что у нас была взаимная любовь с тем. И мы не могли быть вместе. Хрен знает, все че-то мешало. Ну не могли мы. Не знаю, почему. И вот, короче, я с Максимом все, решила нафиг Никиту того забыть... Он мент. Он, кстати, приезжал, когда разборка была... в этом, в «Лагуне». Я капец, я когда его вижу.... У меня аж там все екает. Ну я вспоминаю. Ну это была любовь в натуре. Я его любила. А он ни с кем. Так и нету у него никого. Мы еще тогда с ним поговорили, пока Максим дрался (*смеется*). Ну все равно, надо было забыть. Я выбрала Макса. И потом, короче, было открытие охоты. А они обычно выезжают на поляну как бы на открытие охоты, на ночь. Там палатка, все, как бы, место у нас есть. Вот. Я лежу такая в палатке. Залазит ко мне Максим.

МАКСИМ (*устроившись рядом*). Маша, ты меня любишь?

МАША (*выдержав долгую паузу*). Я не могу ответить на твой вопрос. (*в зал*) Тогда я его не любила еще. Я просто пыталась забыть Никиту.

МАКСИМ. Почему?

МАША. Максим, как хочешь, понимай, но я хочу забыть Никиту. Я хочу быть с тобой. Я люблю тебя. А ты как?

МАКСИМ. А я люблю тебя. Очень люблю.

МАША (*в зал*). И вот, и даже несмотря на то, что я ему отказ сделала, он все равно... И где-то через полгода после этой, как бы... после нашего разговора я сказала: да, я действительно тебя люблю. Я поняла уже, что да, я забыла Никиту, да, мне этот человек дорог, я его

полюбила как бы. И вот хотя полюбила, все равно тянет маленько, все равно охота. Ниче вот у нас не было. Просто какая-то... взаимная... платоническая какая-то... любовь. Как бы такая. Любили друг друга на расстоянии. Но быть вместе не могли. Он тупИл. Если бы не тупИл, может быть... что-то бы и было. Мы с ним спали рядом. Но не было секса вообще. Но я даже знаю до сих пор, что он ко мне испытывает это. Видно же по человеку.

Изба. Кухня. За столом сидит Маша, перед ней фотография с Максимом и Тайгой.

МАША. Теперь-то все равно уже совсем другая жизнь. Семейная (*смеется*). Пьем, в основном, на выходных. Или так, после бани по бутылочке пива. Но иногда и по выходным тоже никак. Просто неохота и все. А раньше если выходные без бухла, то это не выходные. Я считаю, если каждый день тебе надо и ты без этого умрешь, значит, у тебя есть зависимость. Ты склонен к алкоголизму. А я — нет. Чтобы ставить перед собой бутылку — нет, такого нету. Я не буду одна, как алкоголик. А вот в компании или вот из двух человек — все равно есть компания, тогда да. Чтобы было весело. Для связки слов. Как говорится, хорошо же общаться... под рюмочку. То что вот за встречу. Все равно ведь когда встречаешься с человеком, надо выпить. Это еще когда было зарождено! Ну маленькие еще кто — для понта бухают. Мы сейчас рассуждаем, может, как-то по-взрослому: ну че вот он нажрался? Идет, шатается по улице. Некрасиво. А раньше — эээх, сами такие были. Шли, шатаясь, по улице до дома, чтобы там спать лечь. Какой понт в этом? Не понимаю. Деньги на ветер. Лучше дома. Дешевле. Когда с Максимом начали встречаться, мы часто ездили на дачу. Как бы там природа, все. Вся фигня. А щас практически никуда не ездим. Мне вот, по идее, вот щас вот — да вот? — у меня такая стадия возраста, что я вышла замуж, и мне, по идее, никого не надо. Мне с ним хорошо вдвоем. Я могу с ним пить. Есть компания — и есть. Прикольно, когда ко мне девчонки приезжают. У него друзья приходят — ему прикольно. А так как бы... И вдвоем хорошо.

Семен Ваксман

Протон — падучая звезда

1.

Раньше-то бывало, как завоет — до Загарья, поди, доставало, до Липовой горы, до Сибирского тракта, «Фролы — Клопы — Лобаново — Большой Буртым — Кояново — Бершетски лагеря», по пермскому присловью, а в сторону города до остановок с хрипящими и пердящими названиями: ЖБК — ТЭЦ-6 — ПНИТИ, сквозь темень, жемчужную грязь на поребриках и отсекателях, — как взвоят, как взревет! Не бойтесь, это моторные испытания на заводе, который старые люди зовут Сталинским или просто П/Я, «почтовым ящиком», а кто помоложе — «Моторами Перми» — МП. Сами-то моторы — ПС, «Павел Соловьев» — генерального конструктора так звали. Авиамоторы только четыре страны в мире и делают — мы, американцы, французы да англичане. Пермский мотор — он и на ИЛ-девяноста шестых, и на ТУ-двести четвертых. И первую ступень ракеты-носителя «Протон» у нас в Перми делают. А вторую ступень, разгонный двигатель, эту уже в Самаре.

По улице Куйбышева — сплошные бетонные заборы, трубы, заводские корпуса, завод за заводом. Вдруг — стела, взлетающий самолетик, в скверике — Чкалов, «чуб-чуб-чубчик кучерявый» из-под шлема вьет-

ся на ветру, в унтах, в летунской курточке, с планшеткой, из-под руки глядит в хмурое небо, и каждую весну, слава богу, не снесли, еще и краской-серебрянкой выкрасили, и трамвай еще гремит, рельсы изгибаются, косвенно обозначая место, где когда-то стоял под снос частный дом с упертым хозяином. Редко-редко маленькие улочки, вроде Хлебозаводской, по которой далеко заплывает хлебный дух, выводят на улицу Героев Хасана, незаметно переходящую в Сибирский тракт — и там тоже завод, который как только ни звали — патефонный, минный, велосипедный, завод, где директором товарищ Баталин. В названиях улиц — грозные директорские фамилии — Гусарова, Солдатова, или, напротив, вроде как нежные — Соловьева, Лебедева, это уже в Мотовилихе, на пушечном заводе. Бывает ударно, раскатно — улица Моторостроителей, и в названии спрятан рокот мотора...

Женя — раздумчивый конструктор, белый воротничок. Он любит поговорить о работе, а что еще делать в палате? У него тот еще кирпич, как раз для больницы — «Петр Первый» Алексея Толстого. У меня — томик «Евгения Онегина» с комментариями Лотмана. Иван же Степаныч, сосед мой, сам был энциклопедией русской жизни:

— Покосы, значит, поделили, все еланки подчистили в моей родной деревне Грибаны, и жеребий бросили. Нам хор-рошее местечко досталось — старая пасека, две ямы, от деревни близко, и река рядом. Я вычистил покос «Дружкой» первого выпуска, помню, сто семьдесят пять рублей за нее платил. Мать тимофеевку подсеяла, еще где чего нашла, удобрила. Косили вручную. Все вывезли, сидим, выпиваем. Я и говорю своим: в другой раз надо трактор брать. Тракторист-то за бутылку-то все выкосит. И точно, на следующий год тракторист «Беларусом» и выкосил. Сам подъехал, только бутылку увидел, говорит отцу: «Где косить-то, Степан Иванович?» В ямах вручную докашивали. Травища там, в этих ямах, хоро-ошая...

— Погоди, погоди, Иван Степаныч...

Сразу после обхода ждали последние известия по радио, сообщения из Байконура.

— Ракета в шахте. Уже хорошо.

И пошло по всем палатам больницы:

— «Протон» в шахте. Москва передала — ракета уже в шахте!

— ...Слушай дальше. В шестьдесят втором году паспорта колхозникам раздали, и все как побежали, как побежали из деревни. Сосед Никола через год приехал — модный, в затемненных очках. А потом и я уехал, но все такой же простой деревенский парень остался — кость да жила. Ведь всю жизнь трудился — работа, общественные нагрузки — дружина, выборы...

Под надтреснутый говорок Степаныча я отложил книгу и принял двойное обезболивающее.

— Тянет, браток?

— Есть маленько.

— У нас на заводе оперативка, пятиминутка, а у них линейка называется. И вот что я узнал, земляк, у сестричек про хирургов. У них вроде как лесенка. Галина Михайловна, скажем, кандидат наук. Потом ступенька — доцент, и так по ступенькам — до профессора. Но ей мужики хода не дают. Ведь все они очень сильные ребята. Франц Иванович тебе операцию делал, и мне будет делать. У него все на улыбочке, сам конопатенький, срыжа, очки на кончике носа. Он по железам работает, камни выбрасывает, печень режет. По грыжевикам работает, по зобарям. Этим, говорят, морская капуста помогает, спецтаблетки йодированные. А рак лечат так, я слышал, — от акулы мускул берут, ага. Один грузинский ученый установил...

Тут уже я не выдержал:

— Я, когда на Дальнем Востоке работал, женьшень видел, корень жизни — как тело человека, голова, руки, ноги, шишка на месте. Говорят, надо брать от корня с того места, которое болит. Женьшень, он целебен делается, когда тенечек, когда тень папоротника, да не простого, а маньчжурского; а если в кирзе рядом пройдешь, да топнешь — замирает, не выпускает листочек, не растет год, два, три — такой нежный, такой обидчивый. Ягодка — раз в пятнадцать лет, так цветет женьшень.

В осенние вечера

изогнутые липы ЛЮБЯТ подходить

к самому окну

– Да у нас тоже есть свой женьшень, перемская травка-хероставка. Старушки ее хорошо знают...

2.

У Франца Ивановича долгий взгляд поверх очков. И вдруг первый снег пошел, легкий, ландышевый снежок. «Хорошо, — сказал Франц Иванович, — очень хорошо, снег — это тишина. У меня в операционной всегда должна быть тишина. Резекция по Жирану. Вам больно, что ли? У нас больно не бывает. Еще новокаинчика».

На постель меня перекладывали с каталки и Женя, и Костик, и Степаныч от кружки с горячим чаем оторвался.

– Я не похож на привидение? Холодно после наркоза.

– Это банальная физика, — сказал Женя и снова взялся за «Петра Первого». — Между прочим, за бугром есть специальные палаты пробуждения.

– Так то у них, в задней Европе, а мы без верхнего образования, сами себя в порядок приводим, — сказал Степаныч. — Как вы думаете, почему я по утрам всегда пью крепкий горячий сладкий чай? Потому что отходы потом больно хорошо идут. После горячего чая кашлять очень хорошо. Я ведь на станке работал, любил сжатым воздухом охлаждаться — лицо, бывало, подставишь, го-го! Вот и наглотался: трахейдыхало подпортил. Сужено у меня трах-дыхало, да и бронхи стали неисправны. Платили на станке мало, зато получал за всякую рацуху. Резец поменял — все, гони пятерку! В итоге мотоцикл «Минск» купил. Но это так, к слову.

Чай Степаныч пил байховый (он говорил — байковый), крутой заварки черный индийский чай «Королевское сафари», пил, плотно обхватив кружку двумя руками, всей душой вдыхая теиновые флюиды, так что глаза его серые, как осенний денек, до слезы заволакивались. Иван Степаныч — только его в палате и звали по имени-отчеству, а всех остальных — Женя, Костик,

Семен (это я) по имени. Почти все работали на «Моторах Перми». Рокот какой, а? «Моторры Перрми!» Менялись соседи, а он оставался — Иван Степаныч Ощепков. На газетке «Местное время» — кружка крепкого чая, кипятильник, сработанный из двух старых лезвий «Балтика» и клистирной трубки, пачка «Примы», на ней спичечный коробок.

– У меня еще много каких болячек. Астма например. Ее как получил? Первую готовность объявили — заправляли ракету, я окислителем отравился, и астма у меня открылась. В Бершети был передвижной состав. Отвлекающие цели, штук двадцать. Офицеры — за машинистов. Сейчас эти шахты ракетные все повзрывали — и в Жилино, и в Шадейке.

– Секретные сведения выдаешь, Степаныч!

Он рассмеялся, раскашлялся.

– Как-то шпиона американского забросили в Пермь. Ищет ракетный завод, дан ориентир — рядом баня. — «Как пройти к бане?» — «К бане? Легко! Аккурат против ракетного завода!» Ладно. После отравления меня перевели на легкую работу. А что в конторе делать? По костяшкам щелкать, да на голяшки поглядывать. Ушел оттуда, сейчас в охране работаю, на южном входе. Как-то сидел в будке в восемьдесят четвертом цехе. Ливень линул, гром и молния. Ветку тополя сбросило на сигнализацию. Вытяжная труба оборвалась и полетела в периметр. Ракетостроители шли как раз с обеда. Хорошо, что вытяжная упала не на людей, а на тепловую трубу сверху грохнулась. Начальник караула Марухин звонит: что у тебя? Ну, думаю, загремлю под фанфары, это выражение из картины «Вечный зов». Ладно, прибил к Марухину. У него стол, телефон, журнал прошнурованный, пронумерованный, проштемпюлеванный сюргучной печатью, прошитый суровыми нитками, дратвой, изо льна ее делают. Правда, секретарши у него нет — бабы с такой попой сидячей. Ну да он и сам парень емкий....

В другой раз Марухин вызывает — надо директора охранять. Фамилия его такая интересная — Ландскнехт. Тут у меня потолок

поехал. Раньше я не слышал, чтобы так говорили, но у меня действительно потолок потек, то есть крыша едет, шифер сыпется. Ведь у нас в охране дебилов очень много. Менты списанные приходят — ни одного нормального нет. И вот какая мысль у меня запала в мозговые клетки — просят ведь автоматами. Еще с нами дежурили два парня на мотоциклах. С наганами, ага. Потом ко мне домой как-то вечером приходит участковый. — «Жена дома?» — «Супруга, к тебе пришли». — И вот что он ее спросил: можно ли мне, то есть Ивану Степанычу Ощепкову, доверить оружие? После этого пришлось таскать на пузе восемьсот пятьдесят грамм железа. Но мысль из мозговых клеток не выходила — как быть, если на тебя да с автоматами...

Койка Степаныча заправлена по форме, табуретом заглажена. Подушка, как пилоточка, сбита набекрень. Мне ни разу не удавалось так задрать кровать. После чая сосед мой уходил в курилку на пятый этаж — в одной руке пачка «Примы», в другой — коробок. Шел, посвистывал, коробком гремел.

Возвращался Степаныч из курилки с опустошенной пачкой. Бродяга из соседней палаты, которого он звал Гренадером, нещадно истреблял его курево.

– Ты, Иван Степаныч, брал бы с собой одну сигаретку. Ну две, — сказал Женя.

– Я так не могу. Хоть денег не платят, хоть на «Приму» не хватает, а не могу. Я еще помню сигареты по двенадцать копеек, из отходов сигарного производства. Вообще — то я брал у одной женщины в киоске «Приму» за семьсот рублей. «Опал» у нее шел по тыща двести. Приятная женщина, можно даже сказать, симпатичная, очень даже. Я потом узнал — она приютила кавказца — сейчас мода такая пошла. Он ее кормит, спит с ней. Правда, иногда бабу раскрасит. Много ли бабе надо: тронул — фингал. И вдруг вместо нее в киоске парень с сигаретами появляется, у него «Прима» — тыща сто, «Опал» — две тыщи. И мысль у меня запала в мозговые клетки — сиди, сиди, родной, за такие деньжищи никто у тебя табак не будет брать. Бизнесмен!

Так что ты думаешь, через три дня «Прима» везде пошла по тыща сто. Вот ведь что делают коммесаанты!

Но ниче, ниче — корабль на Марс полетит на «Протоне» — может, получится на этот раз, заплатят хоть за май-июнь. Ведь ноябрь на дворе! «Буран», помню, делали. В сорок третьем цехе план по титановой стружке двадцать семь тонн был. Стружка-то легкая, двести килограмм бадья. Потопчешь — до четырехста килограмм получается. А потом не топтали и не взвешивали, а! писали по четырехста килограмм. Тогда еще платили вовремя. Пока ракета на Марс не накрылась.

– Как же вы без денег-то живете?

Иван Степанович повернулся ко мне поволчьи, всем телом. Ко всему прочему миазит его мучил.

– Как живем? Я сам с супругой живу во Фролах. У нас есть животные. Их надо кормить — свиней, кур. Свиней чем кормим? Картошка, комбикорм, крапива и обязательно — ложка маргарина. Это обязательно! Похолодает — завалим поросю. На свежатину захмелимся с супругой обоюдно — хорошо! Так и живем. Без животных, не знаю, как и жили бы. А тебе-то, парень, платят?

– Пока платят.

– Ты сам-то, земляк, кем робишь?

– Геологом.

– И сколь платят?

– Да хватает.

– Оно и видно — кефир пьешь трехпроцентный. Ты с какого года-то?

– С тридцать шестого.

– А я с тридцать восьмого. Вам, которые с тридцать шестого года, еще повезло — поди, нигде и не довелось побывать. Тридцать шестой год в самый перекур угадал — и в Корею не влетел, и во Вьетнам не попал. А мы, тридцать восьмой год, например, Кубу маленько прихватили. Добровольцев набирали. Кто поедет — шаг вперед. Ну а ежели вы не желаете, — приказ будет. Ладно. Поехали к Феде Кострову, то есть Фиделю Кастро, в баржах. На нас шикарные костюмы тропические. Сначала думали — в Индонезию везут. Однако же прибыли на Остров свободы. Каски нам выдали, противогазы

новенькие, с боковым поглотителем. Сигар навезли, спичек разовых. Хо-хо! В Карибском море купались!

Тут Женя выступил:

– А мы как-то в Венгрии в сапогах, в пропотогазах до озера Балатон два километра топали. Морду всю стянуло. Клапан-то я убрал. Подбежали к Балатону, а вода в нем как щелок теплая...

И Костик, карась, туда же спотыкающимся голосом:

– А мы до прииска бегали, где граница Европы и Азии. Я тогда в Первоуральске жил...

Ясноглазого испуганного Костика с тонкой шеей военкомат прислал на обследование. Мама приходила к нему, смотрела на детское личико, гладила по волосам, а он отводил голову. Учил язык — какой? Конечно, английский, но чаще держал том Хорнби на отлете и тревожно вслушивался в рассказы, в случаи из жизни — может, что и пригодится в учебке, в неизбежной Чечне, хорошо, если в Ханкале, а то и в Аргуне, а то и в Ведено.

Но другие названия были в армейских историях — а мы... а вот у нас, в Капустинном Яру... а мы с Плесеца лупили по Тихому океану...

Иван Степаных не давал никому особо растекаться по древу воспоминаний о детских и юношеских годах:

– Помню, был у нас лейтенант Красноперов из Ленинградской области, визгун! Но на язык эрудированный. Эндивидиум! Политинформации все проводил. Жить, говорит, в деревне можно. Говорит, вот у меня, например, сестра в Ленинградской области живет, у нее корова, свиньи и прочее. А у меня, говорю, в Пермской области, родная деревня Грибаны, тоже сестра живет, есть, конечно, корова и свиньи и прочее, но нет света. Даже керосина нет... Вот так и жили-поживали, коммунизм строили, а рельсы-то, как водится, на горизонте сходятся.

– Ну и жизнь у тебя, Степаных. Ты и рабочий, ты и крестьянин.

– Это что. Вот у Феди, брата моего, хотя отцы у нас разные, но все равно брат, вот у него жизнь. Юбилей у него скоро...

3.

– У нас с супругой земли двадцать одна сотка. Два мужика мне поставили конюшню за двести рублей тогдашними деньгами, баню, десять рядов, срубили за две тыщи, это уже другими деньгами. Пять рядов сложили, я им пятьсот рублей выдал, они все пропили. Потом приходят непохмеленные, дал им еще пятьсот. Работают дальше, еще четыре ряда сложили. Когда все завершились — отдал остатки и еще пару бутылок вручил. Но пить с ними не стал. Они ведь такие ребята — один двенадцать лет отсидел, другой — семнадцать. Я не таков — меня, например, на работе никто не видел пьяным. Раз в квартал, правда, напивался. И по пятницам выпивал, быстро в серию вошел — только надо опохмелиться в субботу. Помню, сидим как-то с супругой захмеленные обоюдно. А вот и она сама, Пахомовна, идет, легка на помине...

Супруга Степаныха — в белом халате, из дому принесенном, в шлепанцах тоже своих, достала из безразмерной хозяйственной сумки валенки — дедам ведь положено внукам валенки подшивать. Ходила с внуком Петькой смотреть зверей из новосибирского зоопарка.

– Четыре тыщи билет стоит. Пони замызганные, кормить нечем. Тебя-то, Ваня, кормят как? Хватает?

– Как тебе сказать? Ты ведь знаешь, я люблю настоящее мясо, особенно, когда оно хорошо проваренное. Хотя, говорят, в таком мясе витаминов очень мало. Еще я люблю копченое мясо — особенно, когда на ольхе, с дымком. Но это я так. А помнишь, супруга, как нам с тобой предложили горящие путевки на теплоход, да такие горящие, что и анализы сдавать не надо. Спрашиваю — «какой класс?» — «Второй». — «Пойдет». А как кормили? В меню, к примеру, курица. Дак ей горло разрубят пополам, и в тарелку. Поди, от Курашимской птицефабрики гнали по этапу. Называется ку-ри-ца! Да еще не опалят, как следует. Еще второй класс называется. Так вот, здесь даже не второй класс. Но от тебя, супруга, я ничего не вос-

требую. Только пачку чая и «Примы» пару пачек. А вечером зятек придет. Он у нас с тобой бизнесмен как-никак. Чего ревешь, Пахомовна? Не могу стерпеть, когда баба ревет!

– Ваня, не обращай внимания. Баба, она и есть баба.

– А мужик, он и есть мужик.

– Ну что же, пойду, Ваня. Животных кормить надо. У Феди-то, не забудь, день рождения, юбилей все-таки.

4.

На утреннем обходе Франц Иванович решил мне вставать. Почему-то я спросил — можно ли было спасти Пушкина?

– Конечно, можно было. Кассирский об этом писал. Струйное переливание крови. Операция. В брюшную полость — пенициллин, стрептомицин. Инъекции антибиотиков. Современное обезболивание.

– Ему больно было? Больно?

– У нас бы не было больно. Промедол с димедолом.

После обхода Иван Степаных снова взялся за валенки, а Женя — за «Петра Первого».

Ждали последних известий.

– Ракета в шахте. Эээ, опять отложили.

Женя сказал:

– Что же это значит, по большому счету? И вчера передавали, ракета в шахте. Что это значит?

– Это значит, наши деньги опять прошли, как над Штирлицем журавли. По большому счету. Как бы наш «Протон» чем не накрылся.

– Накаркаешь, Степаных. Посмотреть надо бы, в чем дело. У меня ведь ракета на кульмане, а не в шахте.

Вечером к Ивану Степановичу пришли дочь и зять-бизнесмен — типовой, цельнотянутый. Зять был решителен и деловит:

– Что же вы без телевизора сидите, радио слушаете. Я привезу вам маленький телевизор. Посмотрите «Смехопанораму» — там Петросян про зайцев очень смешно рассказывает.

– Да нам не про зайцев надо. Нас «Марс-восьмой» больше интересует...

После ухода гостей Степаных загибал пальцы:

– Так, супруга с угланом была, дочь была, зять был. Теперь я сына жду. Сын у меня когда-то был в плохой компании — квартиры чистили. Потом отошел от этого дела. А дружки его старые тем временем завели казино, гостиницу. Один раз он снова попал к ним — сидят уже в галстуках, пьют ликеры. Говорят ему: «Деньги нужны»? — «Конечно, нужны». — «Бери, сколько надо». Хватило ума не взять. Отдавать-то чем? Но затрону Турцию. Дочь моя работала в школе. Потом съездила в Стамбул и сказала, что в школу не вернется. Тут у меня опять шифер поехал, крыша потекла. Взять бы доску-сороковку, да по заднице по нежной, по чугунной!

Ждал, ждал Степаных гостей! Кто еще может прийти? Если не пришел, то почему не пришел? Сына и брата Федю так и не дождался, а мне так хотелось на них глянуть. Треньдел Степаных потихоньку, валенки внуковы подшивал помаленьку...

– Ничего, землячки, скоро все будем знать о нашем «Протоне». Телевизор нам обещал мой зятек. Он богатей. А без золотого запаса больно худо. Горбачеву хорошо, у него, говорят, дача семь комнат, в каждой по цветному телевизору. Дочь у меня родилась в шестьдесят четвертом году, так супруга двести рублей декретных получила. Я их на сберкнижку отнес, а потом телевизор «Енисей» купили черно-белый. Не доведенный до ума ящик попался, ох и намучились мы с ним. У Ельцина тоже, поди, не один цветной телевизор. В девяносто третьем он в Москве шухер наводил. Потом, правда, у всех от заднего мостика отлегло...

5.

– Когда последние известия? Как там наш «Марс-восьмой»? А пока я вам про старых директоров расскажу. Мне кое-что порассказал бывший референт Солдатова, потом в тридцать четвертом цехе работал. Жен-

щин у Солдатова на оперативке отродясь не было. Генерал-майор всех богов и боженят собирал.

А Пятницкого я невзлюбил, хотя один раз с ним по ручкам здоровался. Ты хочешь знать, где это я с Пятницким по петухам здоровался? Как-то я в приемную бумаги относил. И там увидел самого Павла Садырина, великого тренера тогда нашей «Звезды», а нынче питерского «Зенита». Садырин пришел просить, чтобы футболистов отпускали на сборы вместе с женами. И заметил я, что у него носки разные и пуговицы на курточке дамские. Пятницкий из кабинета вышел, всем руки пожал.

А невзлюбил я его вот из-за чего.

Живу я, как вы знаете, во Фролах, где летно-испытательная станция. Как-то закеросинили. Автобус ЛИСовский ушел. Смена в семь двадцать. Только бы добраться вовремя! «Волга» идет Пятницкого. У него ведь два шофера было, по сто семьдесят рублей каждый получал. Голосую. Руку вверх! Обе руки! Знал же, лысая харя, что мне на работу. Ладно, «газончик» шел следом, и я в цех пошел.

Однако же, надо сказать, что Пятницкий справедлив был. Брат его инспектором работал. Как-то Пятницкий в отпуске был, а подхалимы тем временем брату квартиру сделали. Вернулся из Кисловодска — квартиру у брата отобрал, всех по кочкам разнес!

А Черкасов поначалу работал начальником снабжения. Потом генеральным стал. Сам маленький росточком, а баритон грубый такой. Ландскнехт как раз после него пришел. Но я про механосборочный цех хочу сказать. Там ой какие сильные мастера были...

— В котором это цехе?

— В сорок четвертом.

— Степаных, да как с этими цехами разобратся?

— Очень даже просто. Какие у нас цеха? К примеру, восемьдесят третий цех — древесный, одиннадцатый — обдирочный, сорок четвертый — механосборочный, девяносто второй цех — благоустройство, это самое последнее дело.

Помню, работал в сорок четвертом цехе Рева. Приказал узел разобрать, а мастер, Саня Мосин, и говорит — «не разбирается этот узел. Этот узел в сборке». — «Нет, разбирай!» Санек не стал спорить и ушел, скрипя душой. И другой мастер не стал разбирать. Но Реву не из-за этого из сорок четвертого цеха убрали. Дело так было. Санька Мосин как-то в соседнем помещении бабу по пьянке натягивал. У этой бабы две дочери. Папа у них летчик. И дочери гордились папой. Папаша у них все время в воздухе, не видно его, дымок только. Рева случайно зашел в это помещение. Саньку в сторону, а сам на бабу полез. Реву сняли с этой бабы и перевели в девяносто второй цех, на благоустройство, потом еще куда-то, и больше о нем никто ничего не слышал. А у Саньки вскоре случилась сердечная болезнь. Как дело было? Однажды, будучи в доме отдыха, он врача натянул. Ладно. Путевка кончилась, вышел Санечка на работу, стоит за станком. Все честь по чести. И вдруг Санек навалился на тумбочку, успел только станок отключить. Лежит на тумбочке, глаза чистые, голубые. Потом Саня три месяца гулял как сердечник, со станка ушел в плотницкую бригаду в восемьдесят третий древесный, на легкие работы.

6.

В ординаторской Степаных достал пузырек туши, форматку А-4, чертежное перо, и нежный Костик склонился над столом. Иван Степаных диктовал, разглаживая ребром ладони листок в косую линейку, подолгу всматриваясь в него старыми глазами.

— Пиши. «Дорогой брат Федор Гаврилович! С юных лет, когда Вы начали работать в колхозе, учились в ФЗО, где получили профессию слесаря...

— ФЗО — что это?

— ...Считай, что это ПТУ. — Получили, значит, профессию слесаря, работали на магнитогорском заводе, где ковали Булаты... Булаты — пиши с большой буквы... служили в армии — в уссурийской тайге,

сражались с японскими самураями и перенесли трагическое возвращение на Родину, с большой буквы Родина...

— Как это трагическое?

— Отдельная история, расскажу как-нибудь. Так — ...зародилась в Вас любовь служения людям. Вы много лет отдали защите народного достояния, работали пожарником на нефтеперерабатывающем заводе, где Вы прошли путь от рядового бойца до ... старшего пожарника. Отрадно, что Вы по-прежнему полны оптимизма и жизнелюбия. Сердечно поздравляю с юбилейной датой и желаю Вам здоровья и благополучия на долгие годы... — Что же ему еще пожелать? — ... Однако, помни об отдыхе и не увлекайся вредными привычками... — Так говорят, да? — Твой одноутробный брат Иван».

Тут и бизнесмен пришел с сыном. Телевизор не принес, зато вручил Степаныху две пачки «Примы» — краснодарская, говорит, настоящая «Прима», так и называется — «Прима Дона», в следующий раз, говорит, морскую капусту привезу.

Внук Петруша смотрел, как дед вырезает стельки. Подобрал черный обрезок, подогнул — «смотри, смотри — черный лебедь!»

Конечно, я не удержался и произнес знаменитую фразу Юрия Ковалю — «За что я люблю черных лебедей, так это за их красные носы», и мальчишка засмеялся.

— Дедуля, сделай ему красный нос!

Иван Степаных повертел примовскую пачку, резанул красный ободок и приладил его черному лебедю.

— У тебя самого белые перышки!

Степаных пригладил лысинку.

— Перышки есть. А крыша вылетела.

— Дедуль, а мы ... потом ...будем?

— Конечно, Петруша.

— И ты будешь, и я?

— Конечно.

— И мама, и папа, и мы все?

— Конечно, Петруша.

— Тогда ладно.

В осенние вечера изогнутые липы любят подходить к самому окну. Было то краткое время суток, когда сумерки наливаются,

нет, не чернилами, а синевой лесных фиалок и отгорают, отцветают. Рисунок дерева в раме окна будто в музее. Вглядись в кору, в архитектуру дерева, этой машины времени, каждый год наслаивающей годовые кольца, и ничего не нужно ему, кроме скупого солнца, света звезд, ничего не нужно, кроме свинцового городского воздуха. И вот тогда Петька и сказал: «Хорошо, что деревья не улетают в жаркие страны».

— Ну-к, мил-внук, примерь катанки.

— Наш корреспондент передает из Байконура...

— Тишина! Ти-ха!

— На околоземную орбиту выведен российский космический корабль «Марс-8».

— Ну что, мужики, радоваться надо!

— Радоваться рано, — сказал Женя. — Он еще на промежуточной орбите, как я понимаю. Правда, все ступени сработали, и наша тоже. Но Марс для нас — почему-то заколдованная планета.

Тут Гренадер заглянул в палату. Иван Степаных взял краснодарскую «Приму», коробок. Вернулся с поточавшей пачкой.

— Что такое — на пятый этаж взошел в курилку — дышать не могу. Там со мной девушки сигареты цивилизные курят. Я «Приму» покурил, сорбит пожевал — во рту запах сменил, с девушками поговорил. Я им говорю — все коридоры больницы гудят: наш «Протон» сработал! — так надо бы граммультку принять. А они смеются — кто кровь сдаст, тому литр вермута положено. Но это смотря какой вермут. Ведь новые русские такую бодягу делают, а мы ее пьем, потом в лазаретах лежим, а они на иномарках ездят. Раньше ведь хорошо было. Набрали в киоске спирту — «Рояли». Из одной «Рояли» пять бутылок водки получается. Потом, правда, все мы в мятом состоянии находились.

— Ощепков, на ЭКГ!

Вернулся не скоро.

— Катюша ЭКГ делала. Халатик, а под ним трусики и бикини. Бывало, что и прижмется бочком. Ладно. Разделся до трусов. Клеенка холодная, а у меня сбруя, заклепки. Брр! Говорю — простынку дайте. А они все чае-

питием занялись. Я говорю: у нас в хирургии лежит грубый, больной народ. Так Катя засмеялась и пригласила меня чай пить. Ничего чай — «Липтон», но дорогой больно.

Я подошел к окну, прижался лбом. Серое небо. Липа тянулась к окну. И трудно представить, что когда-то это было дерево, полное жизни. И вот оно наполняется жизнью, светом. И солнце пронизывает его. И я вдыхаю липов цвет. А сейчас оно такое печальное. Птицы улетели. Сзади битый кирпич, мокрый забор. Хочется коснуться листы, ствола. Несколько листочков, до весны примерзших к холодным веткам. Как по-разному изогнулись деревья за окном, будто холод корежит их, будто они роденовские «Граждане Кале». Постоять бы у дерева, обнять его, угадать, как легче подняться — все выше и выше, где ветки все тоньше и опаснее, подняться, чтобы увидеть голубую планету, маленькую и беззащитную, третью по счету от звезды класса G-2, пробирающейся по краешку Галактики в направлении созвездия Геркулеса. «В небесах торжественно и чудно. Спит Земля в сиянье голубом» — репортаж с космического судна вел поручик Тенгинского пехотного полка...

7.

— Новостей не было? Ладно, музыку послушаем. Я Колю Гнатюка люблю. Помню, билет стоил три рубля, да такси два рубля, да четыре раза остограммился по два рубля порция, с супругой обоюдно захмелились, в общей сложности на пятнадцать рублей вышло, не в этом дело. Дело в том, что Гнатюк-то не приехал! Вышли какие-то дикообразы, давай бить в барабаны. Одна штанина синяя, другая красная. Молодежи сейчас только жрать да пить, да дикую музыку слушать. Еще на Пугачеву на стадион ходили. Набрали водки, закуски взяли по дороге. Хорошо было — ни пыли, ни пузырей. Но Катю Шаврину зять-покойник как не любил! Он ее к другу детства ревновал. Она ведь наша, оханская. Сейчас она с горы бы ему не показала.

По радио вызванивали позывные «Маяка». Марсианский аппарат дважды облетел Землю, не сумел оторваться от нее и рухнул в Тихий океан.

— твою мааать!

Женя скривился:

— Скорее всего, разгонный блок включился раньше времени. Корабль чиркнул по атмосфере, и... — он сжатыми пальцами показал снижение... — Деньги на ветер...

— Как это могло произойти? — спросил я.

— Это ты критическую точку затронул, — сказал Иван Степаныч. Задумался. — Вот что скажу — воруют много. Я вот, к примеру, охраняю южный вход. По мелочи — болт, гвоздодер — неси, но чтобы начальство не видело. А по-крупному, скажем, поковки с никелем — нет. Нет! Мне в тюрьме не выжить с молодыми зверями. Шоферу говорю: «Что везешь?» — «Найдешь — твое». Не знаю, как на северных воротах или на железнодорожной ветке, но у меня на южном входе мышь не проскочит. Правда, вывозить-то нечего, все уже вывезли. Зашел я как-то в гости к одному шоферу. Кухня у него речкой обита. «Рейка-то с восемьдесят третьего цеха, поди?» — Смеется. — «А как вывозил?» — «Как — да на машине». — «Через мою проходную?» — «Нет, через северный вход». — «Да как же, скажи, вывез-то?» — «Трубами загрузился, а рейки вовнутрь труб затолкал». — «Ладно, что не через южный вход».

Женя сказал:

— Алексашка Меньшиков говорит: герр Питер, мин херц, вели всем нашим карманы зашить. — Пошто? — Да голландцы-то, чудаки, дверей вовсе не запирают.

И Костик прошелестел:

— У нас на Декабристов в парке опять плиты на дорожке сперли.

— Дачники, поди, уральские следопыты. — Степаныч встал, потянулся. — Значит, накрылся наш «Протон». Опять мимо кассы. Придется нам с Пахомовной приговорить подсвинка к смерти-казни... Именем Российской Федерации, руководствуясь статьей тридцать три, часть вторая, пункт третий...

8.

Выписали меня внезапно. Степаныча я нашел на пятом этаже. Курил он также, как и чай пил, — вдумчиво, тяжело затагиваясь, без остатка вбирая дым, напиваясь им. Я оставил Степанычу шприцы, таблетки от боли и ушел к сестре-хозяйке за одеждой. Там он и нашел меня. Протянул кипятильник.

— Ты не должен быть в обиде на палату — и коллектив нормальный, и кормежка приличная.

Я надевал куртку, рукав не слушался. И вдруг мы неудобно обнялись, молча стояли. Потом Степаныч быстро ушел, а я никак не мог попасть в рукав, да еще и молнию заело.

Продолжение — в следующем номере

Михаил Левин

Последние стихи

Интервью с Алексеем Решетовым

В издательстве «Книжная площадь» готовится к выходу книга «Автограф» — цикл интервью с творческими людьми от мультипликатора Юрия Норштейна до художника Николая Зарубина. Ее автор — пермский журналист Михаил Левин, много лет проработавший на областном радио.

«Когда я просматривал свои архивы, то снова пожалел, что звучащее слово так мимолетно. И поэтому возникло желание — вернуть некоторые мгновения той, уже прошедшей, жизни, поскольку нельзя, чтобы и это время, и эти люди, и эти разговоры так бездарно пропали. Когда я перечитывал эти интервью, которые были записаны в 1990–1996 годах, то мне казалось, что они обязательно будут интересны и сегодняшнему читателю. Ведь в этих интервью — наша жизнь. Наши люди», — пишет автор в предисловии.

«Вещь» публикует открывающее книгу интервью с пермским поэтом Алексеем Решетовым (1937–2002).

Чтение СТИХОВ даже

молодых СОВРЕМЕННЫХ

ПОЭТОВ, которых СО

скрипом печатают, мне гораздо

приятнее, чем

собственная продукция

Алексей Леонидович Решетов родился в 1937 году в Хабаровске. Большая часть его жизни прошла в Березниках Пермской области, куда после ареста отца в 1937 году была выслана мать будущего поэта. Здесь он окончил школу и техникум и работал в шахте. В 1982 году поэт переезжает в Пермь. В 1960 году увидел свет его первый поэтический сборник, а в 1964 году поэт становится членом Союза писателей. Алексей Решетов — автор нескольких сборников стихов и книги прозы «Зернышки спелых яблок».

Воспользовавшись приближающимся днем рождения пермского поэта, я попросил дать его интервью. Он начал его с чтения своих стихов:

*Собрать бы последние силы,
Склониться над белым листом
И так написать о России,
Как пишут о самом святом.*

*Она тебе зла не попомнит.
Попросишь прощенья — простит.
Настанет твой час — похоронит.
Придет пора — воскресит.*

*Я писал кровавыми слезами.
Я не тратил на стихи чернил.
Но во всех редакциях сказали,
Дескать, мол, я пасквиль сочинил.*

*Шла зима. Никак не наступали
Вешние спасительные дни.
И стихи куда-то запропали.
Бог их знает, где теперь они.*

*Родная речь, прямая речь...
Но есть еще и речь иная.
Кому в сырую землю лечь
Приходит время — ей внимают.*

*Зашелестит вокруг листва
Или пчела прильнет к могиле,
И ты услышишь те слова,
Которых мы не проходили.*

Владимир Даль

*Владимир Даль (Казак Луганский),
В отставку выйдя, пишет сказки.
И даже сам Виссарион
Белинский ими восхищен.
Но в Академии имперской
Его пословицам и песням
Свободный вход не разрешен,
Зане народу служит он.
Увы, вошло в слепую моду
Натурой называть природу
И двести тысяч слов родных
Менять на несколько ввозных.
Слов супротивных, чуждедальних.
О, как бы жили мы без Даля?
Кого бы Пушкин попросил
Поднять его, лишаясь сил?*

*Дайте луковку и хлеба,
Дайте капельку вина.
Я полжизни дома не был,
А ведь жизнь у нас одна...
Что же, снежные вершины
Нам дороже и милей,
Чем отцовские седины,
Чем морщины матерей?
Что же, дальняя дорога,
Шум лесов и рокот рек
Нам понятнее намного,
Чем родительская речь?
Что же, даже на погосте,
Где родимые лежат,
Как непрошеные гости,
Мы торопимся назад?*

— **Это последние стихи?**

— Да, пишу я с возрастом все меньше и меньше. И с нового дня рождения, может, совсем остановлюсь и прекращу писать.

— **Почему?**

— Потому что такая волна прекрасной

поэзии хлынула на нас сейчас. Вернулись превосходные поэты, которых раньше от нас старательно скрывали. И для того, чтобы что-то прочесть, надо много времени. Да и потом у меня манера такая — неторопливо писать, и очень мало надежды, что я еще что-то напишу. Но, во всяком случае, чтение стихов даже молодых современных поэтов, которых со скрипом печатают, мне гораздо приятнее, чем собственная продукция. По-моему, пишущий человек не может быть самовлюбленным и всегда остается у разбитого корыта. Все-таки, когда говорят: чистой кровью стихи пишутся, а я писал кровавыми слезами — это не так далеко от истины. Это не для красного словца говорится.

– **Давайте вспомним, сколько у вас поэтических книг вышло.**

– По-моему, девять, если с переизданиями. «Нежность», первый сборник, вышел в Перми в шестидесятом году. Мне, собственно говоря, очень приятен этот сборник, потому что я впервые попал в издательские руки, и сразу повезло: попал к очень хорошему редактору — Савватию Михайловичу Гинцу. Очень деликатный, хороший редактор, и навсегда этот человек остался для меня не только книгоиздателем, а еще и учителем. Дальше вышел «Белый лист». Потом повесть вышла о военном детстве «Зернышки спелых яблок». В Москве «Рябиновый сад» вышел. Вот я вам могу прочесть это стихотворение «Рябиновый сад» — это не мое кредо поэтическое, но я вот так на жизнь смотрю. Понимаете, чем бы ни кончилась перестройка, была она или не была, как бы ни жил человек — жизнь у него и прекрасна, и очень горька, и очень трагична. В любые времена, в любые исторические эпохи.

*Лежу на больничной постели,
Мне снится рябиновый сад.
Листочки уже облетели,
А красные гроздья — висят.
И мать говорит мне:*

«Мой мальчик,

Запомни, когда я уйду,

*Что жизнь наша горче и ярче,
Чем ягоды в этом саду».*

То есть горькая и неповторимая, яркая жизнь — она всегда меня и интересовала, увлекала, заставляла жить и, скрепя сердце, писать как-то.

– **Вы начали писать в 1953 году — в шестнадцать лет?**

– Понимаете, я начал писать не с раннего детства. Я учился уже в горнохимическом техникуме в Березниках и там, на первом курсе или на втором... Но я начал, как ни странно, не со стихотворений. Большинство пишущих начинают именно с поэзии, потом переходят на прозу. А у меня получилось наоборот. Я пробовал писать рассказы, а потом начал писать календарные стихи на праздничные, красные даты. А потом уже перешел к лирике. Интимной, что ли.

– **Вы сказали, что, наверное, перестанете писать стихи совсем. Это означает, что вы отрицаете все эти тридцать лет вашей работы?**

– Я ничего не отрицаю и другим пишущим советую в себе не разочаровываться никогда. Но я надеюсь, что во мне пройдет это желание, это беспокойство, это какое-то предчувствие, что ли, стихотворения. Вот это состояние — оно не сладкое, конечно, состояние и выматывает человека.

– **Да, у вас об этом написано: «это еще не снег, а запах снега».**

– «Ведь на пустой осенний берег и воду черную у берега сначала падает не снег, а только слабый запах снега». Вот это предчувствие — оно, собственно говоря, и главное в человеке пишущем. А потом ведь — не обязательно ему сочинять стихи. Это не значит, если я не буду писать, что я перестану быть поэтом, если я уже таковым был до этого. Я не о себе, боже упаси. Я и не называю себя поэтом, не присваиваю себе этого высокого звания, но сама поэзия творится в поэте, и он может, не написав ни одного стихотворения, быть поэтом. И многие люди вот так вот, не написав никакого произведения — они в то же время очень поэтичны. Так что если я, допустим, и отка-

жусь от бумаги и авторучки, это не значит, что я не буду поэтом, может, даже еще точнее и острее буду видеть окружающий меня мир. Может, больше меня будут волновать чужие какие-то переживания, и свои собственные раздумья станут весомей.

– **Кого вы почитаете из пишущих?**

– Про Радкевича вот я написал четверостишие. Очень я ему благодарен. Очень он ко мне внимательно относился. И я знаю — без этой дружбы мне было бы одиноко. Также я благодарен Льву Ивановичу Давыдычеву. Сейчас вот чувство пустоты иногда полное наступает без них. Радкевичу — такое четверостишие:

*Мать поэта... Печальнее нету на свете
Никого: у других-то ведь дети как дети.
Но и сыну ее не избежать страданья,
Ибо он отвечает за все мирозданье.*

– **Третьего апреля у вас день рождения. Что бы вы хотели пожелать сами себе на день рождения?**

– Я всем людям хочу пожелать, чего и себе желаю. Знаете, есть грузинская пословица: «Если расставаться — не надо встречаться, а если встречаться — не надо расставаться». Чтобы все люди были живы, здоровы и по мере возможности — счастливы. И конечно — были бы свободны.

1990

Роберт Белов

Первая смерть

Это — как первая любовь. И не приведи бог, у кого они соединятся.

И она, первая, никогда не бывает у человека одна. Как и любовь. Тоже врут вам все, что та единственная бывает.

Сикушку-соседку начал замечать в тринадцать лет, и у тебя целый год потом посасывало сердчишко — это тебе не первая любовь? Девчонка, чистая, тебе трогать сиськи дала, и ты ночами заснуть не мог, а и засыпал — мать тебя будила, потому что стонешь, — это тебе не первая? Баба, с которой спал и наутро не морговал ею, жена, допустим, твоя? Что первое, то и первое, а если всякий раз у тебя что-то такое, особенное, чувствует душа, значит, это называется любовью, и, стало быть, она была у тебя не одна.

Вот так же и смерть. И от того, сколько и каких человеку выдалось первых любовей и первых смертей, такая у него и душа, такая и жизнь.

Самая первая смерть, какую помню, меня только испугала. Была у меня нянька, бабка Марья. Девчонка, всего на четыре года старше меня: мне четыре — ей восемь, мне восемь — ей двенадцать... Бабкой Марьей ее мой папа прозвал.

Странно звучало это слово «папа», произнесенное обросшим волосами ртом...

Она была из большой семьи — одиннадцать штук детей. Единственная девка, остальные все пацаны. Да еще отец с матерью, да еще дед. Старый, мохнатый, страшной. Все какие-то молитвенные книги читал. За бороду и за книги мы его прозвали Карламарксом. Но он хотя и грозный был с виду старик, а добрый, и нам никогда не мешал.

Жили они в нашем же доме, внизу, и все дни-деньские я проводил у бабки Марьи. Ванька, ее братан, был мне годком, были и другие, чуть помладше и чуть постарше. Часто я и ел с ними из одной громадной деревянной лоханки — блюдо, у них называли, — начинал орудовать по команде Карламаркса и, как и все, получал от него ложкой по лбу, если лез хлебать не в очередь. Родители меня не били, поэтому я-то старикана боялся. Частенько я напрашивался и ночевать у них, вместе со всеми, на полу, под рядом, шепотком играя в папы-мамы. Ну, об этом после...

Тем летом папа и мама мои поехали на курорт, а меня оставили у бабки Марьи...

Все-таки странно слышать такие слова от него...

И тем же летом неожиданно помер старый Карламаркс: сидел на завалинке со своей толстенной книжицей, а потом ткнулся — и все, и конец.

Мы этого не видели — ходили на речку. Когда пришли, нас в горницу не пустили: там уже лежал упокойник. Не пустили-то нас из-за меня, наверное, — я у них, конечно, считался вроде как благородный, что ли, маменькин сынок: пустишь его, а что потом родители скажут? Вместе со мной не пустили бабку Марью и Ваньку, чтобы мне не было завидно. Остальные все запросто туда заходили. Может, если бы пустили, лучше бы было, а то... Впрочем, с обиды Ванька свесил мне тумака, в бабка Марья — ему. Мы оба базлали.

Спать укладывались поздно, кто где и кто как: на кухне, на сеновале, на крыше сарая. Тащили какие кто сгреб всякие кацавейки и разный хлам под головы. Нас втроем, баб-

ку Марью, Ваньку и меня, уторкали в сенцах. Мы, конечно, не спали, шептались, высказывали свои обиды. Еще бабка Марья рассказывала байку, ну сказку — про покойника. В этом черном-черном доме есть черная-черная комната, а в этой черной-черной комнате на черном-черном столе стоит черный-черный гроб... И сама-то она от своих слов тряслась, наверное, не меньше моего. Но дверь в коридор была, спасибо, открыта, и мы видели, что взрослые тоже не спят, толкутся на кухне. Один Ванька ни шиша не боялся.

Сидеть с покойником наняли двух бродяжек-монашенок. Костлявые такие, бледные, все в черном. Они должны были — как это? — псалмы, что ли, всю ночь над ним читать. Дед-то Карламаркс видно каким-нибудь там церковным старостой был, как я это теперь понимаю.

Когда совсем уж темно стало, монашенок позвали на кухню, чай пить. Ванька все время нас подбивал втихаря подобраться к горнице и подсмотреть в дверную щель. И как только монашенки убрались на кухню и взрослые отвлеклись с ними, мы тихохонько — туда. В щель совершенно ничего не было видно, и мы прошмыгнули в комнату.

Пол был весь устлан хвоей, большие лапы прибиты по стенам, мелочь по крышке и кромкам гроба, прямо на рюш. Гроб вовсе не черный — белый, тесаный, но тоже страшный, стоял на столе, освещенный тремя тонкими свечками: одна в громадных руках, на которых присохли наподобие бородавок капельки воска, и две в головах. На лбу деда чуть отливала шелковистая повязка, исписанная церковными буквами, на глазах лежали огромные старинные медяки. Тянул сквознячок, и огонечки свечей чуть-чуть покачивались; от каждого нашего движения они начинали качаться сильнее. И, видно от этого, нам мерещилось, что пошевеливаются отбившиеся от бороды волоски, косматые насупленные брови, тени от пяток под глазами и черные дыры большого, не как у живых, носа, будто он дышит. Мне стало жутко, и я весь съежился.

Все **ТОГДА** были ровно

как дети, многое

о жизни не знали и не

понимали еще

В коридоре забухали шаги, мы заметались и сперепугу нырнули под родительскую кровать. В комнату вошел их отец и следом за ним обе монашенки. Отец сразу ушел, а те уселись у изголовья, повздыхали, покрестились, потом раскрыли свои талмуды и забубнили, сначала обе вместе, а потом по очереди.

Мы под кроватью все трое замерли, ни живы ни мертвы. Вылезти было боязно, еще страшнее зажмурить глаза, а глядеть тоже страшно. Когда монашенки переворачивали страницы, те сухо, мертво шелестели, пламя свечей плясало, и по стенам начинали мотаться коряженые черные тени. Мы боялись дыхнуть.

Не знаю уж, сколько мы там просидели. От душного запаха хвои и свечного чада со мной, видно, сделался обморок, и я не своим голосом забазлал. Монашки завизжали тоже, вскочили, побросали книги, свечные языки по-дикому заметались и затрещали, и больше я ничего не помню...

С тех пор я терпеть не могу запах хвои и свечей, любой чад и всякие елейные церковные запахи тоже. Долго еще после того я боялся темноты и засыпал только с бабушкой Марьей.

А вторая смерть уже шваркнула меня впрямую.

Через год примерно у мамы родился мне братишка. Назвали его красиво — Валерием.

Все-таки странно было слышать «мама» — из его рта.

Стал я для родителей взрослым и неинтересным — всегда ведь эдак бывает. К Лерке я их начал страшно ревновать. Мама только-только отойдет куда-нибудь, на кухню, — я, гляди, тут как тут. И начинает мой Лерочка баззлять.

Она сначала не догадывалась, потом до-тункала, в чем было дело.

— Что ты опять с ним натворил?!

— Ничего! Ущипнул я вашего Лерочку. Изадавались вы с ним все. Вы и назвали его

в честь Валерия Павловича Чкалова, а меня дак ни в честь никого. Назвали бы хоть меня Борисом Ивановичем Косолаповым.

Косолапов был заместителем у моего папы, кирюшник из кирюшников, к слову говоря...

Лерка слыл у родителей особенным ребенком. Вундеркинд — слышал такое слово? Ну вот. Прежде я был у них вундеркиндом, а тут стал он. И красивый-то он, и развитой. Таким и остался... А мне тогда стали перепадать первые тычки. Жили в тот год очень трудно. Папу сняли с работы и никуда не брали. Время было такое. За бабушку Марью нечем было платить, но она все равно к нам по-прежнему приходила, водилась с Леркой: мама работала, папа по целым дням искал работу и еще, верно, правду искал... Мы с Марьей оставались домовничать вдвоем, точнее — втроем, да еще время от времени к нам прибегал с улки Ванька. Играли мы с Марьей в клетки. Вот тогда я совсем почти примирился с братишкой. Он был у нас за живую куклу, что ли. Или за настоящего ребенка. Мы с Маней подолгу смотрели, как он гулькает, смешно задирает ноги, сует пальчонки в рот, а то цапает письюку. И мы с Маней будто папа и мама...

Однажды она вроде бы как собралась на базар, а меня будто оставила водиться. На руке у нее была кошелка да еще мамин ридикюль, она стала передавать мне братишку, я не успел принять, а она уже отпустила, и Лерка упал на пол, сильно стукнув головой.

У него сделался менингит. Все последние дни напролет он беспрерывно страшно вопил, мы с Маней кусали руки и тоже истошно ревели от ужаса.

Он умер ранним летом, в мае. Папа сам сколотил ему махусенький гробик. Петровна, Манина мать, принесла из лесу целую корзину душевных ландышей. А мама, перед тем как идти на кладбище, возьми да мне и скажи:

— Ну вот, радуйся. Не будет больше тебе нелюбимого Лерочки...

Сейчас-то я понимаю, что с горя это она, в горе люди становятся которые обидчивы-

ми, а которые злобными. Да хоть и просто неумными. Но тогда я разве мог такое понять? Я прямо весь отерп, и Маня тоже. Разве я его смерти хотел? А Маня, тем более, — разве могла подумать, что такое может случиться?! Мы шли на кладбище сами еле живые, смотрели под ноги на пыльную уже дорогу, боясь глянуть и вперед, где гроб, и по сторонам. Впереди шел Ванька с покрытой цветами крышкой на голове, потом отец, неся на полотенце через плечо махонький гробик, за ним, обнявшись, мама и Петровна, а сзади всех едва передвигали ноги мы с Маней. Петровна время от времени кидала на дорогу, нам под ноги, маленькие веточки хвои...

С тех пор я ненавижу эти ваши ландыши. То и была для нас с Маней настоящая первая смерть, потому потом мы уже никогда не были такими, как прежде.

Только Маня меня понимала. И я ее тоже. Двое в лютом горе своем всегда друг дружку ищут. И, бывает, находят. Только счастья от этого им тоже не бывает.

Ну а прошло время — все, конечно, стало на свои положенные места. Все-таки мы были дети, и души наши были светлыми и тянулись к радости...

Странно все же было слышать от него такие слова.

... Все тогда были ровно как дети, многое о жизни не знали и не понимали еще.

Родительское внимание воротилось ко мне, я опять у них стал единственным. Папу восстановили на прежней должности и вернули ему партийный стаж. Даже предоставили новую квартиру, со всеми тогда удобствами и не какую-нибудь нынешнюю, малогабаритную. Мне уже нянька давно была не нужна, но Маня по-прежнему к нам ходила, жила у нас по целым неделям. Мы только с ней и играли. В девчоночьи игры, в клетки те самые. По-прежнему иногда прибегал и Ванька, но ему, верно, было неинтересно с нами, а нам было лучше вдвоем. В нас обоих вроде бы жило какое-то несчастье, не то прошлое, не то будущее, и мы

тянулись друг к другу совсем как взрослые. Маня вдруг принималась меня целовать, настоящему, взасос, и я как будто что-то такое чувствовал — такое, понял? Мы ведь не один уже год играли с ней в те стыдобные игры, о которых взрослые делают вид, что забыли, не знают... тебе, поди, сгально, наверное, — чего, мол, городит? Конечно, смешно: что мне тогда было — семь-восемь, ей — двенадцать, ну тринадцать. А было, понял?! И правильно было, что было! Может, это одно у меня настоящее-то и есть. Может, потому мы с ней спешили почувствовать все прежде раннего, что худое нам было с ней написано на роду?

Один только разок мы были с ней просто детишки детишками. Папа...

Странно все-таки звучало у него это «папа» вместо «предок», ну — «батя», «отец».

... Папа ночью приехал из Москвы с каких-то курсов и вместе с шоколадом и апельсинами привез Мане в подарок новый портфель со всеми учебниками для ее класса, а мне — ксилофон. Детский, конечно, с деревянными планками, но играть на нем вполне можно было: папа сам на нем «Чижики» азартно отщелкал. Папа с мамой прямо среди ночи ушли к кому-то передать какое-то срочное письмо — поди-ка, умер, наверное, кто? — мы с Маней остались одни, пиروвали, выхвалялись друг перед дружкой своими подарками. И, сам не знаю как, я взял да и на ксилофоне и заиграл — не песенку какую, а ничье, свое, веселое; такое у музыкантов вроде как импровизацией называют? Или еще экспромтом... Долго играл и складно, будто так и надо. И Маня меня слушала, будто так и надо, как будто я только и делал всю жизнь что на ксилофоне наяривал.

Сразу по утранке заявилась застенная соседка Мырина, действительно мырра, каких не густо, лисистая и подвидная, и сразу же углядела мой ксилофон, как будто бы только его всю жизнь и искала:

— Это вот это? Ой, а я даже и не предполагала, что Сергей Васильевич столь исключительно музыкален. Вы знаете, Агния Ар-

кадьевна, я вчера даже проснулась от этой восхитительной музыки и так разволновалась, что и потом все никак не могла заснуть — знаете, бессонница все-таки...

— Это я вчера играл! — тут же сдуру и выпятился я.

— Да-а? А разве у вас это давно? А я думала, ваш папа вчера только... Ну, сыграй нам тогда что-нибудь, пожалуйста...

Я разлетелся сходу отбарabanить что-нибудь такое — помнится, «Возьмем винтовки новые, на штык флажки», да ни хрена у меня не получилось. Ничегошеньки похожего! Я не сумел слабая даже папиного «Чижика-Пыжика». Я удивился и от обиды заревел.

Маня переживала, наверное, даже больше меня:

— Это он играл! — горячо вступилась она.

— Ну-ну. Как же, как же, конечно-конечно, — ухмыльнулась-промямила Мырра и улетучилась.

— Но ведь он же, он же, тетя Нея, играл! — умоляющими глазами глядела на маму Маня.

— Честно Ленина, честно Сталина, честно всех вождей! — через всхлипы взмолилсь я; так мы тогда божились.

«Бабка Марья» была для моих родителей сильный авторитет. Дак поди вам что-то докажешь! Долго еще все потом надсмехались надо мной. А у меня — как обрезало.

Что уж тогда изо всего этого поняла мама, я убей не знаю. Разве только, что Мырра тут же побежит вонять по всяким домкомам или самому высокому начальству, что соседи — фулиганы, которым к тому же медведь на уши наступил, целыми ночами не дают ей, бедной деушке, спать. Но мама ловко воспользовалась Мырринским налетом, чтобы сблатовать меня — мечта у нее была такая — в музыкальную школу по скрипичному классу. И я даже хотя бы для понтыры не заартачился; мне самому не терпелось доказать всем, что я и на самом деле лихой лабух.

Мне купили махусенькую скрипчонку-четвертушку. Не знаю, как в музшколу при-

няли, за способности или по благу; учитель мой во всяком разе за мной никаких особенных талантов не признавал. А мне хотелось играть, я учился настырно, но не шибко успешно: упражнения, которые мне задавали, рядом не лежали с тем, о чем бы я мечтал. Но все равно я днями-деньскими пилил занудные гаммы да еще кое-что прихватывал от себя, сверх домашнего задания — по нотным тетрадам, которых мне тоже напакупали навалом. Мама уж поди сама-то не рада была, по-моему, даже норовила куда-нибудь слинять на время моих — как это их? — вот, экзерсисов. Но уж кому совсем, наверное, лихо было, так это поди-ка Мырре. И не пожалуешься!

А Маня слушала меня терпеливо. И даже будто бы нравилось это ей. А как начинал обалдевать сам и закружусь, она разулыбается вся — может, от облегчения, может, от радости за меня. А то кинется меня целовать. Я уж пошел в тот возраст, когда пацаны брезгают якшаться с девчонками, и начал увилывать от Мани. А она ничего не замечала, по-прежнему вовлекала меня в свои стыдные игры, и, когда целовала меня, глаза у нее были прямо как по-женски жадные, только какие-то пуганые и грустные, будто она боялась не успеть, торопилась взять свое...

Она умерла в одночасье. Вдруг затосковала, отпросилась у мамы на ночь домой. А утром прибежала Петровна и сказала, что ночью был приступ аппендицита, гнойного, и операция уже не помогла.

Мама убивалась:

— Зачем, зачем я ее отпустила! Ведь у нас телефон, скорее бы доставили, оперировали бы лучшие врачи, Петр Иванович Костырев...

Петровна толковала свое:

— Бог, бог меня наказывает, Аркадьевна! Ведь Манюша-то мне повинилась, что Валерика твою она уронила, оттого он и заболел. А я испугалась тебе сказать, а бог — он ведь все видит... Ох, грехи-грехи: единственную девушку вот, матери подмогу, хоть бы уж парня...

Я еще не поверил, что Маня и вправду умерла, и ничего не почувствовал, но бога вашего, если он есть, я возненавидел уже в тот момент: он мне показался не по-людскому строгим и грозным, как дед Карл-маркс в гробу. Кому нужна справедливость, которая злее всякой несправедливости?..

Маню мне показали в этот же самый день. Она лежала еще на табуретках, под белою простыней. Видно, так у нее были сложные руки, а мне казалось, что вздулся живот. Была она тоже страшной и неродной, совсем непохожей на ту, которую я ее всю знал.

Когда шли на кладбище, падал крупный снег. Хлопья садились на Манино лицо равнодушно, как белые мохнатые мухи. Белый-белый по-подлому, по-фронтному нейтральный снег, и белый девичий гроб, и только черное хайло ямы...

Папа с мамой остались на поминки, я оттуда сбежал — не пил ведь, конечно, еще совсем тогда. Домой пришел уже как смеркалось. Ни плакать, ни делать ничего не мог, глядел в сырое окно. Потом вдруг почему-то взял скрипку, и заиграл сам не знаю что. Долго играл, потом заплакал. Потому что все мне было непонятно, и было боязно за себя, и самого себя я чувствовал маленьким и слабеньким перед всем. Я все играл, а слезы падали на деку и катились по ней темными и узенькими дорожками. А за окном был один только снег. Потом со мной сделалась истерика, и я долго колотил скрипкой о подоконник, пока в руках не остался только самый завиток грифа.

С тех пор я возненавидел скрипку и всегда зажимаю радио, как только услышу эти стоны и визг. И ненавижу снег. Что смотришь? Говорю, — ненавижу снег! Белый цвет считается вроде как цвет невинности. И тихий он, и спокойный, и чистый... Все покрывает тихохонько и спокойнехонько — и грязь, и паскудство, и горе — ровнехонько и белехонько все. Ненавижу! Только куда же у нас в России от снега-то денешься? «На свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал». Как же! — много ты соображаешь в колбасных-то обрезках, дяденька Пастернак! «Бывало, снег несет

вкрутую, Что только в голову придет». Вот эдак-то, пожалуй, верняя. А того вернее вот это: «Что ж ты, Снег Снегович, над Россией воеешь? Кровь ты засыпаешь, думаешь, что скроешь? Кровь сквозь снег алеет, кровь не побелеет... Когда себя Россия пожалет? То ГУЛАГа нары, то виденья Лары, вот Россия наша — чортвые чары. Вот Россия наша — ты да я с тобою, среди всех вьюг спасенные любовью. Надо продержаться, надо продышаться и сквозь вьюгу, и кольчугу мерзлого окна. Есть еще Россия, да и мы живые, да и мы живые, и она, вьюжная, недужная, но моя страна...» А это уж Евтух-Евтушенка. Хороший мужик! И стихо у него вышло тоже правильное, красивое. Только нам-то с Маней из того пришлось большое горе...

Рассказать тебе еще что-нить? Ты слушай, слушай... Дальше пошло, как и у всех — война. Тогда уж смертей любому выпало сверх меры. Зато я был к этому вроде как готов. Когда в 41-м во время нашего наступления под Москвой убили папу, я это принял как все: до того, уж не считая других, погибли Манин отец и два брата из старших. Петровна тогда в одночасье поседела. Окончательно сдружился я с Ванькой, стал таким же духарным, как он. В 44-м году объявила набор Кронштадтская школа юнгов... Пошто скосоротился? — именно юнгов, а не юнг. Да ни хера ты не петришь... Есть штуки и почуднее. У римлян вот, например, моряк, наута, был вовсе бабьего рода, ровно как и поэт, поэт...

Ладно. Мама моя выхлопотала, чтобы приняли нас обоих. Сама добивалась, потому что, верно, решила, что лучше уж армия, чем зона-малолетка... А Петровна про Ваньку сказала — если, мол, не убьют, то хоть голодовать не будет: вьюношам много исти требуется.

В юнги брали не каждого, а большей частью круглых сирот, но у меня папа был все-таки старшим офицером, а у Ваньки к тому времени погибли еще два не то три брата. Двоих нас со всего нашего города только и взяли.

Школа была по нам. Это было даже куда лучше, чем попасть в воспитоны, ну, как их в кинах называли, — в «сыны полка». Эх, мы там и поатаманили! Кореша ведь были настоящие, лет как уж десять, а не то что только что обнюхались, на месте. Линкор пропьем, но флот не опозорим! Одно было нам досадно — не придется повоевать, не успеют нас выпустить на действующие коробки, а война уже кончится. Но учиться все равно интересно было: и шагистика, конечно, но и БЧ, боевая часть, и машинная, и морские учения, и тревоги, и десантирование, и все, что положено, прочее. Все же нас успели выпустить за три, что ли, месяца до конца войны, по ускоренной программе. Но на корабли мы с Ванькой не попали: мы просились, чтобы нас определили вместе, в такого места не находилось. Разлучать нас не стали — школьное начальство нас здорово любило, а отправили в Ленинград, в Балтийский морской экипаж, возле Поцелуева моста. И Никольский собор тута же рядышком. Всего ничего, только до Фонтанки пройти. Тот Никола, слышь, угодник-заступник эзков, целок и нашего брата, морсофлотов-мореманов. Мы тама загорали в ожидании подходящих «купцов» или уж когда у начальства терпение лопнет, сачковали и, развесив уши, слушали байки бывалых клешников-запасников об их похождениях с ленинградочками возле этого самого моста. Война еще не кончилась, а они уж всю фразерились: клеши не уже 72 сэмэ. «И клеши новые ласкает бриз. У них походочка, как в море лодочка. Они пришли туда, где можно без труда найти себе и женщин и вина.» Лапшу нам всякую на уши вешали, брехали-заливали, конечно, больше... «А в Питере, как водится, — там все мосты разводятся, но Поцелуев, извините, — нет» — эту-то, поди, слышал?..

Время от времени только нас всех, чтобы вконец не зафилонились, донимали учебными тревогами.

Однажды нас так-то вот подняли, соединили с другими резервистами и нестроевиками, выдали боевые патроны, паек и энзе, посадили в фургоны-студетбекеры. Дол-

гонько же ехали, задницы об деревянные скамейки поуспели пооббить; где, куда? — не знаем. Высадили где-то на взморье, погрузили на всякие самоходные плавсредства и на катера, сторожевики да охотники; темно уже было, ни хрена путем не видно, но чувствуется — цельная такая флотилия подобралась; отправили в море. Ну, похожее и прежде бывало, еще в школе. Старички толковали разное, но толком никто ничего не знал. Офицеры покуривали и помалкивали. Подошли к району действий. Задание — зацепиться за берег и держаться до подхода основного десанта. Такое тоже бывало. Катера тихохонько подтюхали к берегу, прыгаем в воду, бредем по грудь, выбираемся на песок, начинаем рассредоточиваться. Темно, тихо, волна не плеснет. Все как положено. Мы с Ванькой почти что самые первые на берег вышли, у него РПД, ручной пулемет Дегтярева, на сошках, у меня блины, запасные диски; он — первый номер, я — второй.

Только сунулись мы с ним в песок возле какого-то хилого кусточка — полынь, потом оказалось, — стало вдруг светлее, чем днем, а песок даже белым глянулся, ровно тот снег. Кто-то люстры повесил, осветительные ракеты такие. И тут началось! Пальба поднялась, какой я еще никогда не слышал. Вот оно, думаю, ученье дак ученье, уж таких пока не бывало. Повел глазами в сторону — на белом песку наша братва залегла, кто в бушлатах, кто только в тельниках одних, и все в бескозырках, кое у кого только бески рядышком валяются, попадали. Вижу всех, как в кино, «Мы из Кронштадта». А с берега к нам вроде как светящиеся струйки протянулись. И песок среди наших полосами всплескивается: не холостыми — трасирующими лимонят!

Я оглянулся на море: дескать, что же это получается, господа-товарищи командиры?! Сам-то я того не соображал, что у меня тоже боевые заряжены. А охотники наши да сторожевики уже разворачиваются от берега. Тогда я к Ваньке — измена! А он ткнулся в песок, а по ложу РПД тоненькая струйка течет. Трясу — не шевелится. Тут пошли фу-

гасить разрывы. Я сунулся носом в песок, не чуя, как он набивается в рот и в ноздри, налипает на мокрую от слез кожу возле глаз. Чего глядишь? — плакал я, еще как плакал! Все же я был еще пацан...

Сколько я пролежал — не знаю. Полчаса от силы, наверное, уж не больше. Стрельба, как началась, так же сразу и смолкла. Слышу голос в матюкальник, в мегафон:

— Всем немедленно отходить к катерам! Немцы в контратаку пойдут.

До меня дошло, я очухался и бросился к морю.

По нам еще стреляли, опять засветили люстры, горели возле берега катера, кто-то падал в воду, над нами свистели очереди с наших охотников. Но это я уже вспоминаю, будто бред. Всех нас осталось в живых меньше сотни.

Теперь-то я понимаю, что это было. Отвлекающий, ложный десант или же крупная разведка боем. Вспомнил — нас и этому учили — почему сразу после высадки отошли в море наши корабли. Через несколько дней я уже пришел в себя и все свои ужасы позабыл и был страшно горд потом, когда получил медаль «За взятие Кенигсберга». Одно я только никак не могу забыть и понять — это Ванькину смерть. После Мани и папиной похоронной я думал уже, что любая погибель — для меня трын-трава; ан нет, так, братишечка, не бывает! Не могу я все-таки понять — как это так: рядом со мною лежал человек, мой единственный кореш, который все-все знал про меня, даже и про Маню, ее брат, потом ткнулся — и все, и нету. И еще одного теперь не могу понять — прежде-то это меня не трепыхало ничутью. В том бою много наших погибло, в том числе и сами командиры. Они теперь ни за что не в ответе, но все-таки кому же пришло в голову послать на такое дело и нас, пацанов желторотых и необстрелянных, когда войне уже оставались считанные недели? Да хоть бы толком дали понять, что будет не ученье, а взаправдашный бой, мы бы тогда хоть как-то готовы были, а то ведь в душе-то мы так и не верили всерьез, что это никакие не игрушки, мы и войну-то уже считали за-

конченной, а еще не закончили в нее играть. Хоть бы с Ванькой успели огонь открыть, хоть бы... Знаешь, я чего боле всего боюсь? А вдруг Иван там еще живой остался...

Мне когда-то залетело в уши, на полшишки бухущему, правда, полурассекреченное — или наоборот наполовину засекреченное — сообщение такое, что, будто под самые же кранты войне и, похоже, на той же Маркизовой луже, на Финском — а где еще? на Черноморье к весне сорок пятого делать уже было не хрена — проходила сходная операция-фигация Из 4000 собранных недоростков-юнкеров и нестроевиков-перестарков погиб каждый четвертый. Теперь того сообщения не догонишь, пароход ушел... А уж в 2001-м, тут доподлинно слышал, отрабатывали ложный десант под так называемым Калининградом. Нейметса. Они и впред намерены учиться воевать ровно так, как в прошлую войну победители!

Петровна, Ванюшкина мать, совсем вроде недавно была жива еще. Каждый год в день его гибели я к ней ходил. Нельзя было не прийти — сама бы ко мне приползла, даром что почти уж совсем слепая была. И глухая тоже. Мне ей надо было на ухо во всю глотку орать, как все было — в который уж раз. А что я сам-то помню? Ткнулся Ванька, ткнулся — и все...

Петровна трет слепые глаза и бормочет:

— Грехи наши, грехи...

А потом спросит:

— А Манечку помнишь?

Грехи... А чьи грехи? Кто такой есть, чтобы без грехов? Я на юг ездить не могу, моря видеть не могу. Когда хлещет волна — еще ничего, а как только тихо... Тихого моря не бывает, не должно быть: если тихое, значит, подвидное оно, лживое, вот-вот тихую сволочью обернется. Грехи... Мы — грешные. А безгрешные — это кто ж? Которые ничего нашего не видели и знать не хотят? Раз я съездил на курорт, на беленький пляжик пришел, видел нынешних этих, безгрешных. Шлендрают по песку парни-жеребцы, девки-сучки, ржут, кобелируют: все располагает, все уже почти нагишом. А я гляжу

и думаю: а если бы из крупнокалиберного сейчас по вам, по голым...

Да ладно, брось! Изладь-ка еще пузырьчек. Сочтемся когда ни то... Знаю я, ваши меня сволочью, крохобором, шкуродером считают. А у меня душа!.. Понял теперь,

что у меня в ней? А я еще и для всех человек, только не встречай мне поперек дороги. Если вы ко мне как к человеку, то и я человек. И наряды закрою чин-чинарем, и если тебе там в отгул за прогул нужно... Так что, салажонок, лучше при мне держись, понял...

2002

Дата / 120-летие со дня рождения Бориса Пастернака

Владимир Абашев

Раскованный голос

Всеволодо-Вильва в судьбе Бориса Пастернака

Оказавшись на краю

европейской части России, он

думал о своем сходстве

с мифологическим героем

странником, который после

семилетнего блуждания по морям

оказался под гостеприимным

кровом карфагенской царицы

и рассказал ей, как

носила его судьба на пути к

неведомой цели

В середине января 1916 года Борис Пастернак сошел с поезда на станции Всеволодо-Вильва Пермской железной дороги. Наверное, он долго не мог прийти в себя, когда поезд, громыхнув, исчез за поворотом, и на молодого москвича мягко, как снег с еловых лап, обвалилась ватная лесная тишина. За его плечами лежало больше полутора тысяч верст, почти четыре дня пути. Из Москвы, далеко забираясь на север, через Ярославль, Вологду, Котлас, Вятку поезд шел на Пермь. Здесь, на вокзале Пермь II, нужно было долго ждать пересадки на екатеринбургский поезд с прицепным вагоном Пермь–Солеварни. Поезд уходил ночью. На станции Чусовской вагон перецепляли к местному составу, который шел прямо на север по Луньевской ветке Пермской железной дороги. И вновь долгие часы бессонного пути, станции с горными названиями: Утес, Баская, Нагорная, Копи. Поезд нырял в туннель, громыхал мостами над реками с дико звучащими пермяцкими именами — Вильва, Усьва, Косьва. За окнами трудно было что-то разглядеть, лишь темные призраки проносящихся мимо заснеженных елей и пихт, снопы искр паровоза и багровые отсветы над горными долинами, выдававшие ни на час не прекращавшуюся огненную жизнь горных заводов. В пути

рассвело, встало яркое январское солнце, и стало видно, как резко изменилась местность — крутые склоны, заросшие елями, зубцы скал, прорезающие тайгу, узкие долины рек, засыпанные первозданным снегом. Урал. Эту фантастическую, всеми стыками Луньевской ветки громыхавшую железнодорожную ночь Пастернак запомнит навсегда. Из ее несущихся видений возникнет стихотворение о рождении нового мира — «Урал впервые».

Половину 1916 года, с января до конца июня, Борис Пастернак проживет во Всеволодо-Вильве, и месяцы, проведенные здесь, назовет позднее одним из лучших времен своей жизни. Но это будет потом, когда жизнь выстроится в осмысленный рассказ биографии и станет видна далеко во все концы прошлого и будущего. В этом глухом уголке Пермской губернии Пастернак оказался случайно. Хотя как взглянуть. Не было ли в этой случайности потаенной логики судьбы? Интересно, вспоминал ли он во Всеволодо-Вильве строчки одного из ранних своих стихотворений: «сегодня с первым светом встанут детьми уснувшие вчера»? Это было стихотворение о преодолении возрастного рубежа, когда жизнь меняется вдруг, и человек, словно заново родившись, видит все по-новому. Те, кто еще вчера были детьми, откроют (у Пастернака — узнают!) в изменившемся городе — «горизонт горнозаводский». Неожиданная метафора в стихах москвича. Как она попала к Пастернаку за три года до его уральского путешествия? Но слово было сказано и оказалось пророческим. И вот горнозаводский горизонт на полгода окружит Пастернака и очертит собой поле потрясающих впечатлений и совершенно нового жизненного опыта. А случайно возникшая в жизни коренного москвича таежная и горная Всеволодо-Вильва станет для него местом судьбы.

Призрак неудачи

Каким он был тогда, в 1916 году, будущий лауреат Нобелевской премии, автор про-

славленного романа, переведенного на десятки языков, автор «Сестры моей — жизни», одной из лучших лирических книг целого века русской поэзии? Есть неизбежные погрешности ретроспективного взгляда на литературную биографию «великого поэта». В масштабах свершившейся судьбы мы не замечаем трудностей начала, сомнений и колебаний выбора, ночных страхов перед неясным и угрожающим будущим. Пастернака это соображение касается более, чем кого-либо из его знаменитых современников.

Его время было эпохой ранних дебютов, ранней и громкой славы поэтов. Борис Пастернак родился в 1890 году. Анна Ахматова, лишь годом его старше, стала известной с первой своей книги «Вечер», изданной в 1912 году. А уже в 1914-м вышли «Четки», сделавшие Ахматову знаменитой. Годом позднее родившийся Осип Мандельштам уже в первой, 1913 года, книге «Камень» предстал сложившимся мастером. Владимиру Маяковскому, 1893 года рождения, молва о гениальности сопутствовала с первых выступлений в печати, а поэма «Облако в штанах» (1915) ее блестяще оправдала. О Сергее Есенине, бывшем пятью годами моложе Пастернака, заговорили с его первой книжки «Радуница», вышедшей в том же 1915 году.

Пастернак не в обычаях своего времени был поэтом позднего начала. Его первая книга стихов «Близнец в тучах» вышла в 1914 году. Но ее вовсе не заметили. Только все читавший и все новые имена заносивший в свой реестр поэзии систематик Валерий Брюсов отозвался об авторе снисходительно в литературном обзоре. Как жадно должно быть вчитывался в скупые слова мэтра Пастернак, пытаясь разглядеть в них благословение. Разглядел, на свой лад перетолковав 2-3 общие фразы. И был благодарен потом Брюсову всю жизнь за доброе слово.

В «Близнеце» не узнать будущего автора «Марбурга» и книги стихов «Сестра моя — жизнь». Это сейчас, когда мы знаем «настоящего» Пастернака, в ранних стихах сквозь призму поздних можно различить смутные

очертания будущего. А для современников тогдашние стихи Пастернака были неразличимы на общем фоне, они тонули в потоке эпигонского стихотворчества. В чем было дело?

Мудрый Вячеслав Иванов, мастер и искусный знаток поэзии, в разговоре с Пастернаком заметил ему, что не встречал еще человека, который бы в творчестве своем шел настолько вразрез с отпущенным ему природным художественным даром. Они познакомились предвоенным летом 1914 года в живописном и благодатном местечке средней России — Петровском на Оке, где снимали дачи люди искусства из Москвы. Пастернак в то лето служил воспитателем у сына поэта-символиста Юргиса Балтрушайтиса. Живший по соседству Вячеслав Иванов любил беседовать с Пастернаком, ему нравились его бурные философско-лирические импровизации. Осуждая пастернаковские опыты в стихах, он имел в виду рабское подчинение традиционному стиховому шаблону, которому ученически следовал Пастернак. Усвоенный им слишком неспешный строй стиха не поспевал за головокружительным полетом ассоциаций, который Пастернак обнаруживал в самой простой беседе или письме приятелю. Его стиху нужна была та же скорость, с какой неслись его впечатления и мысли. Раскованному восприятию и воображению нужен был столь же раскованный стих. Но такого стиха в инструментарии Пастернака еще не было.

Путь Пастернака к поэзии был долгим как ни у кого из современников, не только по времени, но и по счету метаморфоз, пережитых в поисках своего призвания. Своему герою Сергею Спекторскому он переадресует потом горькую отцовскую шутку о десяти талантах, что хуже одного, да верного. Это о себе, о многообразной одаренности, которая может стать обузой. На пути к слову Пастернак отказался сначала от музыки, хотя его опыты одобрил боготворимый им А. Н. Скрябин. Потом от философии, хотя его способности оценил сам Герман Коген, глава марбургской философской школы. Музыка и философии Пастернак предпочел поэзию.

Но и в решимости избрать литературу как свое призвание и участь его едва не доконал пример Маяковского. Ко времени личной встречи с Маяковским Пастернак кое-что читал из его стихов, читанное ему нравилось. Но потрясающее впечатление произвело личное знакомство. Это случилось в мае 1914-го. Сначала была принужденная встреча в компании, где выяснились дрязги двух литературных группировок, к одной из которых принадлежал Пастернак, к другой — Маяковский. Интерес, впрочем, возник и тогда. Взаимный. На следующий же день они столкнулись на Тверском бульваре в кафе, разговорились. Маяковский предложил прочесть свое новое — трагедию «Владимир Маяковский».

Обстоятельства этих минут врезались в память Пастернака до мелочей: желтый песок пустынного бульвара, разомлевшие от жары собаки, бабочки, мигающие крыльями и растворяющиеся в струях нагретого воздуха, девочка в белом платье, словно парящая в сверкающей сфере неуловимо мелькающей скакалки, — все это, вся изнывающая от зноя Москва, казалось ему сейчас овеществленным голосом Маяковского. Он вбирал в себя все и все собой покрывал. Услышанное ошеломило, покорило и... подавило.

Пастернак слушал восторженно, он умел любить чужое совершенство и бескорыстно отдаваться его обаянию. Но у встречи с Маяковским была все же и другая, темная и повергающая в смятение, сторона. Рядом с молодым Маяковским Пастернак ясно осознал ничтожность собственных начинаний в поэзии, испытал острый приступ сомнения в своих силах и призвании. Автору поэмы был 21, Пастернаку — 24. На таких возрастных рубежах 3 года — пропасть. За Пастернаком было преимущество культуры и образования: одухотворенная артистическая атмосфера семьи, Толстой и Рильке, стоявшие почти у колыбели, с детства европейские языки, музыка, золотая медаль классической гимназии, философский семестр в Марбурге, диплом Московского университета. На этом фоне Маяковский — ди-

карь, невежда... Но все эти преимущества усвоенной культуры превращались в ничто перед живым откровением мощной лирической стихии. Молодой дикарь Маяковский воплощал ее гениально. Он подавлял безусловностью призвания и реализованного в слове дара.

Встречу с Маяковским Пастернак пережил как удар, как «внутренне сокрушающий перелом». Позднее в «Охранной грамоте» он расскажет, как, возвращаясь тогда с бульвара, он чувствовал себя полной бездарностью. По логике его поведения в предшествующих ситуациях выбора, когда судьба сводила его сначала с Александром Скрябиным, потом с Германом Когеном, Пастернак, натолкнувшись на Владимира Маяковского, должен был бы отказаться от поэзии, как до этого бросил музыку и философию. Но на этот раз он остановился. Горько осознаваемой причиной был возраст — поздно: «после всех метаморфоз я не решился перепределяться».

Важное в этом признании слово: «не решился». Оно выдает растерянность и страх. Перед будущим. Пауза в самоопределении у Пастернака стала затягиваться. Уже год, как он закончил университет, но до сих пор не определился с занятиями, с профессией, с призванием. Литература? Но первый опыт с публикацией книги не подтвердил притязаний и не принес удовлетворения. Пример Маяковского заставил усомниться не только в верности выбора, но и в собственных способностях.

Внешне в годы, от знакомства с Маяковским до поездки на Урал, в 1914 и 1915-м, жизнь Пастернака не отличалась от жизни его литературой озабоченных современников. Он был участником футуристической группы «Центрифуга», дружил с Сергеем Бобровым и Николаем Асеевым, обсуждал с ними совместные литературные выступления, давал стихи в альманахи, выступал с полемическими статьями, громя соперников. Пастернак жил жизнью литературной околуфутуристической богемы, центром которой с зимы 1915 года стала квартира сестер Синяковых на Тверском бульваре. Сес-

трами увлекались. Женой Николая Асеева стала Оксана, в Марию был влюблен Бурлюк, во всех поочередно — Хлебников. Пастернак не на шутку увлекся Надеждой. Казалось, он сам становился человеком движения. Устраивали вечеринки, читали стихи, остряли наперебой и «бегали за пивом и водкой».

Родители Пастернака были в ужасе от его новых знакомств и называли нехорошую квартиру «клоакой». Конфликт с семьей еще более осложнял внутреннее состояние Пастернака. «Если б ты только знал, какими терзаниями переплетены эти последние годы», — признается он позднее отцу. Все чаще он попадал в полосы тоскливого страха, и все чаще казалось, что ничего у него не получится, все планы и надежды обернутся «дилетантским прозябанием среднего порядка», — таким опасением он поделился в письме к другу еще перед окончанием университета. И вот участь неудачника становилась для него все более реальной.

Неустроенность и неопределенность положения Пастернака бросались в глаза окружающим: кто он, чем он занимается? Послушаем современницу, Марину Цветаеву: «Имя знали, но имя отца: художника Ясной Поляны, пастелиста, создателя женских и детских головок. Я и в 1921 году встречала отзывы: «Ну, да, Боря Пастернак, сын художника, такой воспитанный мальчик, очень хороший. Он у нас бывал. Так это он пишет стихи? Но он ведь, кажется, занимался музыкой...» Между живописью отца и собственной отроческой (очень сильной) музыкой Пастернак был затерт, как между сходящимися горами ущелья».

Можно представить, каково было ему слышать такое о себе со стороны: Боря, сын художника, воспитанный мальчик, пишет, говорите, стихи? А ведь наверняка слышать приходилось. Заманчивая намечалась перспектива. Остаться навсегда Борей, Боренькой, мальчиком с десятью талантами. Вот в таком состоянии неопределенности, внутреннего смятения, нарастающих конфликтов с собой и семьей, с чувством вины первенца, не оправдывающего надежд отца, Пастернак оказался во Всеволодо-Вильеве.

Как его сюда занесло? Есть две версии фактической стороны событий. Первая — реалистическая. Збарские, поселившиеся во Всеволодо-Вильеве в ноябре 1915 года, решили пригласить к себе друзей, чтобы иметь круг привычного общения в новом для себя месте. Обратились к литератору Евгению Лундбергу, которого знали еще по жизни в Швейцарии. Лундберг не только согласился приехать сам, но и посоветовал пригласить молодого поэта Пастернака. Лундберг работал в редакции журнала «Современник», где печатался пастернаковский перевод комедии Генриха Клейста «Разбитый кувшин». Он сумел оценить по достоинству талант молодого автора и, понимая его неустроенность, хотел чем-то помочь. Кстати подвернулось приглашение Збарских. Оно оказалось тем более актуальным, что Всеволодо-Вильевский завод был приписан к оборонному ведомству и, соответственно, давал бронь своим работникам. Пастернак был освобожден от службы в армии по инвалидности (нога после перелома срослась с укорочением), но война затягивалась, начинались переосвидетельствования и отказы в ранее данных отсрочках. Появилась вероятность призыва. Поэтому и родители поддержали идею поездки на неведомый Урал.

Другую версию событий излагает Борис Збарский. В мемуарах он рассказал, как во время поездки в Москву случайно встретился на улице с «поэтом Борей Пастернаком» и тут же предложил ему приехать во Всеволодо-Вильеву. Версия фантастическая, вызванная извинительной по давности событий аберрацией памяти. Збарский в то время не был знаком ни с Пастернаком, ни с его родителями. Но в его «воспоминании» есть замечательная деталь, проливающая свет на внутренние мотивы согласия Пастернака приехать во Всеволодо-Вильеву: «К моему удивлению, Боря с восторгом принял предложение». Збарский сконструировал воспоминание из собственного понимания ситуации Пастернака, которое пришло к нему позднее, когда они близко сошлись. И в этом смысле его «воспоминание» совершенно правдиво. Пастернак ухватился

за возможность поехать на Урал к совершенно незнакомым людям, потому что увидел хоть какой-то выход из замкнутого круга проблем и конфликтов, обступивших его в Москве. Это был побег. Пастернака гнал призрак неудачи. Он сбежал, чтобы за полторы тысячи верст от дома найти самого себя и свою судьбу.

Всеволодо-вильевская идилия

Поразило, прежде всего, самое обыкновенное — снег. Он был здесь первозданным и бесконечен. Снег валился неделями, как будто из каких-то бездонных кадок лили, все заливая, густые белила. Снег диктовал здесь ритм жизни, маршруты и средства передвижения. Каждый новый день начинался с расчистки дорожек. Вдоль них в человеческий рост высились снежные стены. Ступишь шаг от протоптанного пути — и немедленно тонешь по пояс. Гостеприимные хозяева вручили Пастернаку, приехавшему в привычных для горожанина ботинках, громадных, выше колена, валенки. Здесь их называли по-особенному — пимы. Пастернаку они напоминали ботфорты, он увлекался романтикой Средневековья, оживленной памятной поездкой в Марбург.

Пермская зима 1916 года словно подгадала к приезду Пастернака. Снежная тема тогда не сходила со страниц местных газет. Губернские ведомости писали, что даже старожилы не припомнят таких снегопадов. На севере губернии, где как раз и оказался Пастернак, толщина снежного покрова доходила до сажени, а это ни много ни мало два с лишним метра. А средняя по губернии толщина покрова в ту зиму была два аршина, чуть меньше полутора метров. Прибывавшие в Пермь из уездов рассказывали, что упряжные кони, сбившиеся с дороги, утопают в снегу чуть ли не до самой дуги. А деревушки в глухих лесных углах заносило так, что крестьяне, возвращаясь с промыслов, не сразу могли сыскать жилища. Какая-то былинная, сказочная была та зима в Пермской губернии.

Снег был, конечно, и в Москве, но там он был как-то незаметен, не занимал много места. А здесь, во Всеволодо-Вильве, он являлся не в виде уютных сугробов в московских дворах или андерсеновских снежинок в лучах фонарей, а в каком-то другом качестве. Здесь снег был пятой мировой стихией. Здесь им дышали как воздухом. Жизнь в снегу так удивляла, что Пастернаку захотелось получить свидетельство чуда, а то не поверят. Позвали местного сапожника и фотографа-любителя Акатьева, и всей компанией снялись в сугробах у бокового входа в дом управляющего. Черные силуэты на снимке тают в молочной белизне.

За пастернаковским радостным удивлением перед вильвенскими снегами чувствуется — он ожил. Его зимние письма домой дышат настоящей эйфорией. Все ему во Всеволодо-Вильве по душе, все изумляет новизной жизненной фактуры. С объездчиком Егором он ставит капканы на рысей, впервые в жизни стреляет из маузера, ствол вековой ели буравя навывлет, на лыжах, подбитых рыжим конским волосом, забирается в таежную дичь и глушь, на сибирках (так звали здешнюю породу лошадей), запряженных в розвальни, по дороге на Иваку забирается на Матюкову гору, с вершины которой распахируется без конца и края пучающийся океан гористых лесов. «Тут чудно хорошо», — выдыхает он в письме к родителям.

Наверное, зимние всеволодо-вильвенские месяцы были самыми беспечными в его жизни. Здесь он был гостем и оказался гостем желанным. Есть расхожее мнение, что Пастернак работал у Збарского на заводах конторщиком. Владимир Радкевич, пермский поэт, даже написал об этом стихотворение «Ивакинский конторщик». Хорошие стихи, но никакой обязательной службы у Пастернака не было. Формально его, видимо, назначили на должность, чтобы обеспечить броню, но никаких обязанностей это назначение за собой не влекло: «пробытию моему здесь придана — не по моей воле и в противоречии с настоящей действительностью — видимость помощи».

Если Пастернак и помогал Борису Ильичу Збарскому в заводских делах, то только в охотку. Да он и рад был, смущенный небывалым радушием встречи и изобилием предоставленных ему благ, помочь и хоть как-то отблагодарить хозяев. Разовая работа по заводу превращалась в радостное приключение. Однажды ему довелось выдавать зарплату рабочим. Кассир отпросился в отпуск, и Пастернак вызвался помочь. С каким же торжеством он писал родителям, как блестяще справился с новой задачей. Раздал за день несколько тысяч рублей, сверяя выдачи по нескольким ведомостям, да так, что касса сошла с копейка в копейку: «И это я так, по-домашнему, по знакомству, как приключение проделал».

После богемной и в бытовом плане скудно устроенной, а фактически полуголодной жизни в Москве Пастернак во Всеволодо-Вильве оказался в исключительно благоприятных бытовых условиях. Дом Збарских предоставил ему все условия современного комфорта с электрическим освещением, телефоном, ванными комнатами, прислугой. Обстановка, избавлявшая от каких-либо бытовых забот, соединялась с разнообразием здорового досуга в самом тесном общении с природой: охота, санные прогулки, катание на лыжах, длительные конные поездки и экскурсии. Всеми этими возможностями Пастернак пользовался с азартом, понимая, что подобный случай вряд ли когда еще представится.

Помимо бытового комфорта дом Збарских обеспечил Пастернаку ничуть не сниженный в сравнении с московским уровень культурного общения. На Вильве выписывали ведущие газеты и чуть ли не все журналы России. Пастернак переписывался со своими московскими литературными друзьями Сергеем Бобровым, Александром Штихом, Константином Локсом и был в курсе всех событий московской культурной жизни. Сергей Бобров присылал ему последние книжные новинки. Да и во Всеволодо-Вильве его окружили люди, близкие ему духовно и по культурным интересам.

Хозяин дома, так радушно принявшего Пастернака, Борис Ильич Збарский, был

старше своего гостя всего пятью годами, но по степени творческой и социальной осуществленности в жизни дистанция между ними была столь велика, что даже не могла быть предметом соперничества и сравнений. В свои тридцать лет Збарский имел за плечами мужественное и рискованно-деятельное, по словам Пастернака, прошлое. В юности он был связан с революционным подпольем и не однажды рисковал, по крайней мере, свободой. Еще гимназистом живя в Каменец-Подольске близ австрийской границы, он обеспечивал транспорт революционной литературы в Россию и был знаком с легендарным Григорием Гершуни, будущим главой боевой организации эсеров. В воспоминаниях Троцкого мелькает решительный и упрямый гимназист, который в 1902 году организовывал нелегальный переход границы для будущего вождя мировой революции. Это был Збарский.

А в настоящем Борис Ильич был главой дружной и благоустроенной семьи, талантливым и успешным ученым, властно управлял двумя заводами, обширным имением и многосотенным коллективом служащих и рабочих. При этом Збарский был человеком близкого Пастернаку культурного круга и замечательным собеседником. Он был талантливым ученым-химиком, учеником, а впоследствии сотрудником знаменитого биохимика академика А. Н. Баха, был знаком с философом-парадоксалистом Л. И. Шестовым.

Вся совокупность качеств старшего друга охватывалась для Пастернака одним словом — «совершенство». Иначе и быть не могло. В Збарском налицо присутствовала та полнота реализации сил и способностей, та ясность жизненной перспективы, о которой двадцатишестилетний Пастернак, задержавшийся в стадии не-совершенности и не-определенности, мог только загадывать. Понятно, что их отношения, особенно поначалу, не могли не принять характера почти восторженной влюбленности, с одной стороны, и братски внимательного, предупредительного и почти балующего покровительства, с другой.

В самом начале февраля во Всеволодо-Вильву приехал и остался там почти на три месяца до 20-х чисел апреля Евгений Германович Лундберг. Ученик и последователь Л. Шестова, интересный прозаик и литературный критик, Е. Г. Лундберг был давним другом Б. И. Збарского, они сошлись в Швейцарии. А Пастернак познакомился с ним еще осенью 1914 года через Сергея Боброва, который сотрудничал в журнале «Современник», где Лундберг тогда заведовал литературной частью. Надо отдать должное литературному чутью Лундберга. Одной далеко не совершенной новеллы «Апелле-сова черта» ему хватило, чтобы разглядеть в Пастернаке большого и оригинального прозаика. Он принял деятельное участие в устройстве литературной и, как видим, не только литературной судьбы Пастернака. Круг Б. И. Збарского, Е. Г. Лундберга и Б. Л. Пастернака достойно и счастливо дополняла Ф. Н. Збарская, разносторонне образованная и тонкая женщина, сыгравшая важную роль в самоопределении Пастернака.

Обстановка комфортного быта во Всеволодо-Вильве счастливо дополнялась чрезвычайно благоприятным климатом человеческих отношений. Для четы Збарских и Лундберга Пастернак оказался образцом им доселе неведомой спонтанно творческой человеческой породы, которую требовалось лелеять и баловать. «Здесь все, — писал родителям Пастернак, — окружили меня какую-то атмосферой восхищения и заботы, чего я, по правде сказать, не заслуживаю; да я и не таюсь перед ними, и они знают, что я за птица; по-видимому, им по душе как раз та порода птиц, к которой отношусь я со всем своим опереньем».

Здесь все за меня делается, дают кому-то переписывать мои вещи — в контору Резвой, кажется, платят за это, списываются с редакциями и т.д., а я почти ничего не знаю — и главное за что, pour les beaux yeux?»

Как он расцветает здесь и, хочется даже сказать, как беззаботно распускает хвост. С почти хлестаковской легкостью (она так

и сквозит в интонациях писем) Пастернак чувствует готовность к любым предприятиям. Узнав, что во Всеволодо-Вильве и на содовом заводе в Березниках есть рабочие театры и они пользуются успехом у здешней публики, Пастернак не на шутку решил попробовать себя на сцене. Он торопит родителей прислать ему номера популярного журнала «Театрал», где печатались пьесы для народных театров, не забыть присовокупить к ним несколько томиков А.Н. Островского, а также собственный его перевод комедии Генриха Клейста «Разбитый кувшин». Очевидно, у него мелькнула мысль поставить комедию во Всеволодо-Вильве.

Вообще, во Всеволодо-Вильве его настойчиво посещает мысль о публичности, желание блеснуть на сцене, потрясти зрителей. Вечернего кружка восхищенных слушателей в зеленой гостиной ему уже мало. Пастернак собирается в Пермь и Екатеринбург выступить с лекциями о Сервантесе и Шекспире, ведь в 1916 году у них трехсотлетние юбилеи. Для этого нужно совсем немного — познакомиться с биографиями юбиляров, и вот Пастернак требует, чтобы родные поскорее прислали ему хоть что-нибудь. Ему так хочется показать здешней публике «как неожиданно оригинален, свеж и часто парадоксален естественный, непринужденный и простой подход к теме». Кажется, еще вот-вот и на сцене появятся все 35 тысяч курьеров. Слава Богу, ничего из этих замыслов публичных выступлений не вышло.

Но зато как характерно само их появление. Ему просто очень хорошо и легко. В атмосфере дружеского и даже восхищенного внимания Пастернак чувствовал себя свободно и творчески раскованно. Его январские, февральские и мартовские письма родителям полны выражениями играющей и радостной жизненной энергии.

По устройству быта, досугу, ритму жизни и творческой оживленности общения дом Збарских во Всеволодо-Вильве напоминал скорее дворянскую усадьбу в уездной глуши, чем служебную квартиру высокопоставленного управляющего, ставшую временным

приютом для художника. Не случайно мотив усадебной помещицкой жизни сопровождал описания вильвенского досуга Пастернака. «Здесь живешь <...> не так, как вообще — на даче или в гостях у средних помещиков, но так, как среднему человеку вообще и во сне не снится», — писал он родителям, имея в виду, конечно, не только внешние обстоятельства своей жизни. Во всеволодо-вильвенской идиллии зимних месяцев он впервые пожил помещиком. Не в тривиальном смысле сибаритства, конечно, а по состоянию не отягощенной заботами свободы играть своими способностями и силами.

Возвращение музыки

Но более важным было другое. Во Всеволодо-Вильве Пастернак впервые за послеуниверситетские годы остался наедине с самим собой. Вскоре по приезде он поделится с отцом этим новым ощущением. Он оказался настолько далеко от дома — четыре ночи пути отделяют его от Ярославского вокзала — и в настолько несходной жизненной обстановке, что ему даже не верилось, что где-то есть Москва с ее суетой, напряженностью, чувством неустраиваемости, чувством постоянной вины перед родителями, что он не оправдывает их ожиданий. Родной город вдруг отступил в далекую перспективу. Оставил, освободил от себя. Возникло чувство, что вот ты бежал, бежал и вдруг остановился и перевел дыхание. В том же письме отцу Пастернак многозначительно добавил: «я настолько себя в другом лице здесь чувствую».

Вот что было самым важным: в другом лице себя почувствовать. Всеволодо-вильвенское уединение помогло Пастернаку разобраться в себе. Предшествующий Уралу жизненный цикл, считая от разрыва с музыкой в 1909-м, он увидел вдруг разом, осознал: «Эти семь лет встали передо мной в первый раз в такой целостности». То было семилетие поисков и сомнений, когда начинало казаться, что он ничего не сумеет сделать, что «дилетантское прозябание среднего

порядка» самый вероятный его удел. Переезд во Всеволодо-Вильву означал не только перемещение в пространстве. Он сообщил Пастернаку не только чувство неизмеримой удаленности от дома, но и ощущение внутренней дистанции по отношению к собственному прошлому. Отсюда оно представилось ему цельным, обозримым в общих очертаниях и логике движения.

Внутренний творчески-психологический сюжет его путешествия на Урал состоял в том, что здесь Пастернак остался один на один со своей жизнью в ситуации, относительно длительной и внешне для него небывало комфортно обеспеченной, и поэтому плодотворной паузы, главным содержанием которой стал интенсивный процесс творчески-психологического самоопределения, принятия окончательных решений — выбор судьбы. И вот во Всеволодо-Вильве Пастернака обступили незавершенные темы его прошлого. Ему заново предстояло их пережить, проиграть и преодолеть.

Первой вернулась музыка. В зеленой гостиной дома управляющего у окна стояло фортепиано, в его черных лаковых боках тускло отражались пятерней растопыренные листья пальмы, стоявшей рядом в кадке. По вечерам после общего чая в зеленой гостиной Пастернак стал импровизировать. Сначала по просьбам новых друзей, потом все чаще и чаще. Стоит представить себе эти январские музыкальные вечера во Всеволодо-Вильве. Дом управляющего стоял на самой окраине поселка, к нему чуть не вплотную подступала тысячеверстная глухая тайга. Дом тонул в сугробах, из ярко светящихся окон неслись в снег и тайгу вариации на темы Шопена, Скрябина, Вагнера.

Для Пастернака фортепиано было не простым музыкальным инструментом для вечернего досуга. Это была его машина времени. Стоило коснуться клавишей, как в сознании мгновенно возникал уголок рабочей комнаты на даче у его учителя композиции Глиэра, звучала собственная принесенная на суд мэтру соната, к окнам подступал душистый сумрак сада, и все это был тот мир сказочной полноты и счастья,

где безраздельно царила музыка. Из этого блаженного мира он сам себя изгнал семь лет назад, в 1909 году.

Долгие импровизации за фортепиано январскими вечерами даром для Пастернака не прошли. Его все более и более охватывало безудержное и безумное желание повернуть время вспять, вернуться в мир музыки, от которого он отказался. С февраля начинаются упорные занятия. Пастернак часами сидит за фортепиано. Как старательный ученик, разыгрывает гаммы, пытается вернуть прежнюю гибкость пальцев. Он забрасывает родных просьбами выслать ему нотную бумагу и партитуры Шуберта, Моцарта, Вагнера. Он вновь говорит о музыке как о своей будущей профессии. Планирует занятия на годы вперед: «один год сплошь *minimim* я сяду на упорнейшие экзерсисы». Ради музыки Пастернак уже готов пожертвовать своими литературными занятиями. Он рассчитывает, что ближайшие два года полностью посвятит выработке исполнительской техники. Да, возраст, ему уже 26 лет. Но это ничего. Он убежден, что упорной работой добьется успеха, что дело можно еще поправить. Конечно, от литературы придется отказаться. Но это пустяки. Надо целиком сосредоточиться на музыке и работать не «поинтеллигентски», а рассматривая музыку как возрожденную специальность. Пастернак всерьез думает о будущей филармонической деятельности. Два месяца, февраль и март, он не отходит от фортепиано. Эти месяцы вскоре он назовет благословенными.

Занятия музыкой оборвались почти внезапно. В конце марта стало ясно, что дни всеволодо-вильвенской идиллии сочтены. Збарский получил предложение Товарищества химических заводов П. К. Ушкова и К^о наладить производство хлороформа на Бондюжском заводе в Тихих горах. З. Г. Резвая была не против расторжения контракта. Она уже вела переговоры о продаже имения и заводов во Всеволодо-Вильве и Иваке. Борис Ильич с головой ушел в заводские проблемы, нужно было переделать кучу дел, чтобы подготовить заводы к продаже. Отпечаток его забот лег и на быт дома. Пастернак фи-

зически ощущал это. Сознание, что всеволодо-вильвенской идиллии близится конец, выбило его из колеи привычных занятий. В конце марта он забросил занятия музыкой. Объяснение было простым и исключительно внешним: «Тяжело барабанить, видя как Борис Ильич работает».

По инерции он пишет родителям, что не собирается отступать от своих планов, что выбор музыки — дело решенное: «я уже остервенел в этом намерении и меня не сдвинешь». Лето он собирается провести с родителями на даче в Молодях и просит поставить в его комнате фортепиано, чтобы продолжить занятия: «пианистом для себя мне нужно стать в кратчайший срок». Он даже собирается — безумная идея! — зимовать в Молодях, чтобы в одиночестве там работать. Конечно, Пастернак задумывается и о том, на какие деньги он будет жить все годы новой учебы. Выход есть: можно «мастачить» что-нибудь посредственное и общедоступное для газет и журналов. Разумеется, под псевдонимом, как бы не от себя, а от какого-то чуждого «Я», от которого внутренне всеми силами души надо отмежеваться. Он строит планы на два года вперед, но про себя понимает, хоть и не признается еще, что планы эти несбыточны. Что никогда он не сможет «мастачить» общедоступные статьи для журналов. И бросил он фортепиано совсем не потому, что Збарский вертится в делах, как белка в колесе, и неловко, глядя на его деловую кутерьму, барабанить по клавишам. Просто время не повернуть вспять и невозможно из 1916 года вернуться обратно в 1909-й, чтобы начать все сначала.

Апрель во Всеволодо-Вильве проходил для Пастернака в минорной тональности. Началась полоса неудач, мелких, на которые месяц назад не обратил бы внимания, а теперь они ранили. Из редакции «Русской мысли», куда по настоянию Лундберга была отправлена новелла «Апеллесова черта», пришел вежливый, но бесповоротный отказ. Можно было сколько угодно говорить, что журналы предпочитают только общепонятное и посредственное, но удар по само-

любию был чувствительный. Испортились отношения с Лундбергом. Статью о Шекспире Пастернак послал в «Русские ведомости», а Лундберг, оказывается, уже отказался от своей статьи в «Биржевых ведомостях», уступая место Пастернаку, и даже известил об этом редактора. Словом, все пошло наперекосяк.

В десятых числах апреля вскрылась Вильва. С треском лопались льдины, стлкнувались, шурша напоздали друг на друга, громоздились, отсвечивая острыми сколами. В багровом свете вечерней зари ледяные грани казались окровавленными, и пришедшая в движение река напомнила какой-то зловещий пир северных языческих богов, тризну: «льдин ножи обнажены, и стук стоит зеленых лезвий». Он написал тогда мрачное стихотворение о ледоходе «Заря на севере» с мелодраматической концовкой, почти автоэпитафией: «В глуши, на плахе глыб погиб Дар песни, сердца, смеха, слова».

В его письмах в Москву зазвучали нотки беспокойства, жалобы на редкие письма из дома — верный знак, что Пастернак теряет уверенность, ему по-детски хочется укрыться под родительской защитой. Но и отношения с родителями вновь обострились. Думая, как распорядиться собой после отъезда Збарских из Всеволодо-Вильвы, Борис Пастернак начинает носиться с идеей поездки в Ташкент, где гостила у сестры Надежда Синякова. Отношения Бориса с Надеждой вызвали у родителей резкое отторжение, они были против поездки.

Хотелось жить, как подсказывало желание, но, настаивая на своем, убеждая родителей, Пастернак чувствовал, что не в силах противиться родительской воле. Двадцатилетний мужчина не решается без родительского благословения поехать на встречу к любимой женщине, он боится огорчить родителей, — Пастернака повергал в отчаяние паралич собственной воли. Вновь, как уже не раз бывало в последние годы, он вступил в полосу тоскливого страха перед будущим. Лейтмотив страха — время. Ему уже 26 лет, а еще ничего, хотя бы в малую меру отпущенных ему Богом талантов, не сделано,

и угроза уйти ни с чем кажется почти неотвратимой.

На пике отчаяния 10 мая он пишет письмо Леониду Осиповичу — пронзительный и болезненный психологический документ, исповедь: «отец, я боюсь». Пастернак выговаривается дотла, стараясь разобраться в причинах своих поражений и неудач, в причинах отказов от выбора, найти корень безволия. В его исповеди переплетается неразрывно стремление прижаться к отцу, найти у него защиту и бунт против отца, который своим авторитетом ломает волю сына, лишая его самостоятельности. В своей естественной для мужественного возраста зависимости от родителей Пастернак готов признать форму болезни. В поисках рецепта излечения он разбирается со своим прошлым, и его накрывает еще одна вернувшаяся из прошлого рубежная для него тема — Марбург. Пастернак впервые рассказывает отцу о своем объяснении с Идой Высоцкой.

Надо сказать, накопление любовного опыта у Пастернака было таким же затянувшимся, как его путь в литературу. Оно было трудным и по житейским меркам даже запоздалым. Сказывалось отчасти семейное воспитание, то, что он назовет «неестественными уклонами пуризма». Позднее Пастернак признавался, что «позорно долго» оставался в круге «возвышенного отношения к женщине». Что это за отношение, он объяснил в «Охранной грамоте». Этим объяснением, своего рода теоретическим трактатом об эросе, Пастернак предварил там рассказ о марбургской любовной катастрофе — свидании и объяснении с Идой Высоцкой. Возвышенное отношение в женщине, то есть головная, теоретическая невозможность совместить романтический идеал любовных отношений, культ возлюбленной с естественной близостью, это, по Пастернаку, не столько прихоть культуры, ее условностей, как обычно полагают, сколько замысел природы, в котором сказалось ее «захватывающе высокое мнение о человеке». В преодолении барьера, воздвигнутого на пути сексуального влечения

самой природой, человек становится человеком: «из мухи превращается в слона». Но так спокойно он будет рассуждать через полтора десятка лет. Сейчас другое.

Влюблен в Иду он был давно, с гимназических лет. А решительное объяснение состоялось в середине июня 1912 года в Марбурге, куда сестры Высоцкие заехали на пути в Берлин и пробыли в обществе очумевшего от радости Пастернака три дня. Три дня непрерывного праздника и три дня ни слова о главном. Лишь перед самым отъездом, в отеле, когда уже из номера выносили чемоданы, Пастернак рискнул, наконец, сделать Иде предложение. Решительный отказ поверг его в отчаяние и был пережит как личная катастрофа, подобная давнему перелому ноги. Тем более, что объяснение в отеле было отравлено унижительным сопоставлением. Утешая Бориса, Ида рассказала, что его ситуация совсем не исключительная. Так у всех бывает, и ничего, жизнь продолжается. Так же ей приходилось утешать одного из отвергнутых претендентов на ее руку: «он приходил ко мне, плакал, терялся... и мне так же точно приходилось утешать его...». Эта оговорка «так же точно» была хуже пощечины. Неповторимого Бориса ставили на место в уныло однообразный и тривиальный ряд претендентов-неудачников. А закончилась сцена любовного объяснения на фарсовой ноте. Когда Борис попытался обнять Иду, она испугалась и позвала в номер лакея.

Прошло четыре года, но переживания тех минут еще не остыли. И самое горячее из них, самое живое — обида. Теперь он во всем винит Иду Высоцкую, которая, ответь согласиём на любовный порыв, могла бы стать «обладательницей не только личного счастья, но счастья всей живой природы». Но эту единственную минуту Ида проворонила, потому что женский инстинкт ее был глупый и незрелый. Живо и чувство унижения, пережитое в Марбурге, когда Ида сравнила его с другими плачущими у ее ног — всякими «Бродскими, — манами, — бергами, — фельдами и прочими автомобилями». Этим сравнением «она навеки оскорбила не меня

только, но и себя, и всю свою жизнь, и все свое прошлое». А прошлое все еще болит. Это она, Ида, виновата в его жизненной драме: «Вот кем была искалечена навсегда моя способность любить». В запальчивости обиды Пастернак называет ни в чем неповинную девушку «отпетой слепой из Чудовского переулка». Семья Высоцких жила там недалеко от квартиры Пастернаков на Мясницкой.

Обращаясь с отчаянной исповедью к отцу, историю своей душевной жизни Пастернак рассказывает взывающими к сочувствию метафорами нездоровья: перелом, срастающиеся кости, костная мозоль, хромота. Обвиняя отца, он по-детски ищет у него защиты. Но несмотря на весь накал переживаний, есть что-то в этой исповеди, что заставляет не воспринимать все сказанное Пастернаком слишком буквально.

Как симптоматичны в изложении истории объяснения с Идой анафорические зачины периодов — «мне хочется рассказать тебе» — разрешающиеся ссылкой на несовершенство имеющих пока в распоряжении языковых инструментов рассказчика: «Мне хотелось бы все это рассказать тебе. Но сначала нужно научиться писать так, чтобы...». Рядом с рассказом о любовной истории подспудно выстраивается — или, вернее, надстраивается над этой историей — рассказ о поиске языка. Все дело в том, что историю надо рассказать, и тогда она приобретет совсем иной смысл и качество. Эти отсылки к языку в письме-исповеди явный симптом, что живое событие жизни уже уходит в область ритмически организованного рассказа о жизни — повести, как любил говорить Пастернак. И Марбург, кажется, уже находит в рождающейся повести свое место, отдельной весомой фразой входит в ее ритм и синтаксис, рифмуется с прошлым и будущим. Еще чуть-чуть...

Поэтому в письме Пастернака к отцу есть толика неосознаваемого лукавства. Конечно, он был искренен, он писал в состоянии прострации, близкой к отчаянию. Но его письмо — симптом не болезни, а благотворного кризиса, когда паралич

воли уже преодолевается. Как если бы кто-то за тебя внутри тебя все уже решил, а ты еще об этом не знаешь. Возвращаясь к Марбургу во Всеволодо-Вильве и проигрывая заново историю любовной неудачи, Пастернак ее ритмически, музыкально преодолевал. Он искал язык, чтобы точно рассказать о происшедшем: «нужно научиться писать так о весне, чтобы иные схватывали грипп от такой страницы или готовили кувшин с водой под эти свежесорванные слова. А иначе об этом говорить бессмысленно». Лукавство было в том, что Пастернак уже нашел такие свежесорванные слова, только еще не осознал, что у него есть именно то, что он искал.

Десятым мая помечена правленая машинопись стихотворения «Из марбургских воспоминаний — черновой фрагмент». Это будущий «Марбург», одно из немногих ранних стихотворений, которые Пастернак включал во все свои сборники избранного. Десятого же мая он прервал письмо к отцу и вернулся к нему только 15 мая. Вторая половина письма написана совсем в другом настроении. Видно, что полоса тоскливого страха уже позади: «Я не перечитываю написанного, чтобы не вызвать в себе ложного стыда в рассказанном; вообще неприятно делать такие признания, но я не боюсь попасть в смешное положение перед тобой. Письмо вызвано у меня страхом. Страх чувство — детское. И с радостью я вспомнил о том, что мне дано еще такое счастье — рассказать тебе обо всем, что пугает меня. Этим счастьем я не могу не воспользоваться. Все это связано с тем, что я отказался от поездки в Ташкент».

Оказалось, что в Ташкент не надо ехать, потому что «Ташкент» был только метафорой его желания убежать от себя, а зачем же было бежать и куда, если «Марбург» уже написан и нужные слова найдены. Оказалось, что вместе с Марбургом и музыка к нему вернулась — в обретенном поэтическом слове и ритме. Пятнадцатого мая, опережая исповедальное письмо отцу, в Москву улетела телеграмма: «Страдаю избытком сил. Пишу. Боря».

Белые ночи Всеволодо-Вильвы

10 мая, бросив недописанное письмо отцу на столе, Пастернак впервые уехал из Всеволодо-Вильвы в Пермь. Выбраться в губернский центр надумала Фанни Николаевна, заскучавшая в поселке. Кстати подвернулось несколько бумажных дел по имени и заводам, которые надо было сделать в городе. Борис сопровождал хозяйку дома и выполнял поручения Бориса Ильича. Несколько дней они провели в городе, гуляли по его круто спускающимся к реке улицам, любовались панорамой Закамья из набережного сада на крутом камском берегу. Сад украшала аллея из жиденьких молодых еще не распустившихся лип, перспективу аллеи замыкал затейливый деревянный теремок биржи в ропетовском духе. Горожане смешно называли сад «козьим загоном». И, правда, эти животные нередко попадались на зеленых улочках Разгуляя, забредали и на набережную.

К вечеру город замирал, и был он очень хорош в бесконечно длящемся дне, незаметно переходившем в белую северную ночь. Шар солнца долго медлил над Камой, словно и не собираясь опускаться за горизонт. Улицы заполнял тихий предзакатный розовый свет. И город стоял, неподвижный, по грудь погруженный в прозрачные сумерки. В тишине, в молчании его строения начинали жить своей собственной, не зависящей от людей жизнью. Фасады домов становились осмысленными, как лица много переживших на своем веку. Город раскрывался как книга. В памяти оставались физиономии домов, характеры улиц, складываясь постепенно в осмысленное целое — образ города. Город на холме с собором на вершине прибрежной горы Слудки, по склонам которой спускались вдоль Монастырской улицы уступами одно- и двухэтажные дома. На высоком аттике дома городского общества, где близ театра и мужской гимназии размещалась публичная библиотека, бросился в глаза лепной раскрашенный герб города — в красном поле белый медведь с золотым евангелием на спине, над книгой

золотой же крест. Так и осталось в памяти: Пермь — белая медведица.

Фанни Николаевна уезжала днем раньше, Борис ее провожал на вокзале Пермь I. Поезд уходил поздно ночью и, коротая ожидание, они пошли ужинать на двухпалубный пароход, пришвартованный у Любимовской пристани. Пристань была прямо напротив железнодорожного вокзала, и к ней можно было пройти по широким мосткам. В кают-компании они просидели почти до отхода поезда, до рассвета над Камой. Между ними продолжался тот бесконечный разговор, который уже вошел в привычку во предшествующие вечера. Собственно говорил Борис Пастернак, а Фанни Николаевна слушала. Она умела красноречиво слушать. А он рассказывал без конца, говорил о том же, о чем писал отцу — о Марбурге, об Иде Высоцкой, о музыке, о собственной надломленной воле, о всем, что ныло занозой последние годы и накрыло его волной в апреле во Всеволодо-Вильве. Понимающее и нежное внимание молодой женщины все в себе растворяло, как камская белая ночь.

Через несколько дней уже во Всеволодо-Вильве он напишет стихотворение «На пароходе». Сюда войдет все — и капли старина на бронзе подсвечников, и зевающий лакей с салфеткой, считающий судки и прислушивающийся к разговору засидевшихся клиентов, и хрустальный бокал-баккара, сквозь грани которого, смеясь, поглядывала на рассказчика Фанни Николаевна, и бледная звезда, ныряющая в густой, как масло, камской волне, и огоньки прибрежных улиц, отражающиеся в воде, и холодный утренник, тянущий с Камы, и вся магия белой ночи, и вся огненная мистерия раннего рассвета.

Так Борис Пастернак еще не писал. Он только думал о подобных стихах. Вообще-то вскоре после знакомства с Маяковским Пастернак ясно осознал, к чему влечет его собственная поэтическая природа: «Моя новая книжка стихов должна быть свежей, что твой летний дождь, каждая страница должна грозить читателю простудой, — вот как — или пусть ее лучше не будет никогда». Мысль опережала свершение. И вот такая

книга рождалась. И то, что он писал сейчас во Всеволодо-Вильве, было полностью противоположным тому, что делал Маяковский. У Маяковского на первый план выступала героическая фигура поэта: «Мир огромишь мощью голоса, Иду красивый двадцатидвухлетний». У Пастернака «Я» как бы совсем пропадает, в стихотворении на первый план выходит мир, жизнь. У него поэт, как глаз, все в себя вбирающий и всему дающий новую драгоценную жизнь — в слове. Позднее он сам сравнит себя с конским глазом, огромным, все в себе отражающим.

Стихотворение о белой ночи на Каме Пастернак посвятит Фанни Николаевне. Ей же было адресовано неделей ранее появившееся стихотворение «Из марбургских воспоминаний» с красноречивым посвящением: «Фанни Николаевне Збарской в память Энеева вечера возникновения сих воспоминаний». Для Пастернака с его классическим образованием, сравнение себя с Энеем — «героем судьбы», по определению В. Н. Топорова — было исполнено глубокого личного смысла. Оказавшись на краю европейской части России, он думал о своем сходстве с мифологическим героем, странником, который после семилетнего блуждания по морям оказался под гостеприимным кровом карфагенской царицы и рассказал ей, как носила его судьба на пути к неведомой цели. Фанни Николаевне Пастернак рассказывал о своем семилетнем — считая с разрыва с музыкой — странствии в поисках собственной участи. Его марбургские воспоминания, ставшие стихотворением, и оказались встречей с собственным предназначением.

Это удивительный и загадочный текст. Позднее, в 1928 году, готовя новое издание книги «Поверх барьеров», Пастернак напишет новую редакцию стихотворения, где и появится средневековый немецкий город, рыцарское гнездо, наполненное воспоминаниями о Мартине Лютере и братьях Гримм, город с островерхими когитистыми крышами и улицами, мощеными каменными плитами. Ничего этого не было в первом «Марбургель», в стихотворении 1916 года не было

немецкого города, а была Всеволодо-Вильва, место, где ожили и настигли Пастернака его марбургские воспоминания.

Стихотворение насыщено деталями места и ситуации. В знаменитом стихотворении «Поэзия весны», которое он вскоре напишет здесь же, во Всеволодо-Вильве, он сравнит поэзию с губкой, забытой на мокрой садовой скамейке. Стихотворение впитывает все, что окружает автора в момент пережитого творческого вдохновения. Новые стихи Пастернака всегда напитаны такими мгновенно схваченными деталями окружающей обстановки — «приключеньями ближайшими, событиями, местом, где я тогда жил, и местами, где бывал, погодой тех дней». Каждый живой текст, по Пастернаку, рассказывая о «наиразличнейшем, на самом деле рассказывает о своем рождении».

Так и марбургские воспоминания Пастернака густо напитаны обстоятельствами его всеволодо-вильвенской жизни. Взять хотя бы одну из самых памятных строф, которая без изменений перешла из первой редакции во вторую. Ее любил повторять Маяковский:

*В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал*

Все ключевые мотивы строфы — провинция, актерство, Шекспир — выросли из деталей всеволодо-вильвенской жизни. В письмах отсюда впервые возникает важная для Пастернака тема провинции, она потом пройдет сквозь все творчество вплоть до романа «Доктор Живаго». Здесь же оставила след мимолетно возникшая идея играть на театре. Наконец, Шекспир. С конца февраля до середины апреля шекспировская тема не покидает страниц переписки. Пастернак умоляет родителей выслать ему биографические материалы и тексты шекспировских трагедий для работы над статьей к шекспировскому юбилею. Кстати, в отличие от театральных литературно-критических планы Пастернака увенчались относительным ус-

пехом. К середине апреля он действительно написал две статьи и отправил их в «Русские ведомости» и «Русскую мысль». К сожалению, они не были напечатаны, а рукописи затерялись. Вот из этих бытовых мимолетных, казалось бы, мелочей, увлечений рождается то, что хочется потом твердить наизусть: «как трагик в провинции».

Из Всеволодо-Вильвы попали в марбургские воспоминания 1916 года белые стволы березовых аллей морозовского парка, которые так полюбили А. П. Чехову в его приезд. Позднее в «Охранной грамоте» Пастернак подробно опишет свою жизнь в Марбурге. В его описаниях множество упоминаний о растительности — каштаны, липы, сирень, табак, левкой, гелиотроп, маттиолы, розы. Вероятно, березы росли и в Марбурге, но Пастернак художественно их не замечает: в окне его марбургской комнаты зеленеют только «лиственные догадки» о юге. Береза семитически связана с севером. Поэтому во второй редакции березы исчезнут из южного немецкого города. Еще одна замечательная деталь, которая будет вычищена из второго «Марбурга» — соловьи, которые пели в первом: «ночь занимает весь дом соловьем,/И дом превращается в арфу Золову».

Разумеется, соловей — существо экстерриториальное, и Пастернак с той же вероятностью мог слушать соловьиное пение в Марбурге. Но свидетельства в пользу уральского происхождения соловья в его марбургских воспоминаниях более чем основательны. Соловьи в стихах Пастернака впервые появляются только в книге «Поверх барьеров» в «Марбурге» и в стихотворении «Ночам соловьем обладать...», также написанном во Всеволодо-Вильве. И отсюда соловьиное пение стало у него одним из знаков Урала. Самые памятные соловьиные места у Пастернака — уральские страницы «Доктора Живаго»: соловьи в Шутьме, размышление о соловьином пении в дневнике героя, «неистовствующий» соловей в «Весенней распутице» в стихотворениях Юрия Живаго. Это те самые соловьи, которые впервые запели для Пастернака в майские белые ночи в морозовском парке и зарос-

шей лозняком пойме Вильвы, подступавшей к самому дому Збарских. А ночной дом в его марбургских воспоминаниях?

*Повсюду портпледы разложит туман,
И в каждую комнату всунут по месяцу.
Приезжие мне предоставят чулан,
Версту коридора да черную лестницу.*

В редакции 1928 года она приобрела следующий вид:

*Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.*

В 1928 году из Всеволодо-Вильвы Пастернак переместил событие в Марбург — это описание его комнаты в доме на Гиссенской дороге. Это там было два окна и оттоманка и толстые корешки философских томов на полках. А в марбургских воспоминаниях 1916 года был совсем другой дом — многокомнатный, таинственный, звучащий ночами, как Золова арфа, оплавающийся полным ужасом, заполненный тенями. Это там была верста коридора и черный вход, который использовали чаще, чем парадный. Этот длинный коридор бросился в глаза и Збарскому при первом знакомстве с будущей квартирой: «Когда мы зашли в дом, то мне сразу бросился в глаза длинный коридор, метров 15 в длину, по обеим сторонам которого двери вели в отдельные комнаты». Да и приезжие появились из многократно поминаемой в письмах «приезжей» — гостиницы при заводе.

Марбургские воспоминания впитали в себя Всеволодо-Вильву как губка. С них начинается настоящий Пастернак. Его майские стихи — это обретение того самого раскованного голоса, которого ему не хватало. Стихи, написанные во Всеволодо-Вильве, войдут в книгу Пастернака «Поверх барьеров». Замечательное название, его выбрал Сергей Бобров из предложенного автором списка вариантов. Среди них был и такой: «Раскованный голос».

В стихах, написанных в мае во Всеволодо-Вильве, Пастернак обретает самого себя. И как изменяется его состояние. Его письма домой снова дышат бодростью и уверенностью в собственных силах, но в них уже нет тех чуть-чуть хлестаковских нот, что звучали порой в феврале и марте. Это другая уверенность, спокойная и мужественная: я «утвердился во многом, в чем еще имел глупость сомневаться».

У него снова широко раскрываются глаза, и он жадно впитывает впечатления окружающей его жизни. В самой первой реакции Пастернака на новую обстановку, когда он только что приехал во Всеволодо-Вильву, сказалось влияние литературных стереотипов провинции. «Здесь имеется провинциализм и больше, уездовщина, и больше, глухая уральская уездовщина не отстоенной густоты и долголетнего настоя, — не без нотки снобизма писал он домашним, — все это или многое уже уловлено Чеховым, хотя, надо сказать, нередко со специфической узостью юмориста, обещававшегося читателю смешить его. Этот дух не в моем жанре, и литературно вряд ли я мои здешние наблюдения использую». Правда, тут же Пастернак оговорился, что «косвенно конечно, все эти тени и типы в состав моей туманной костюмерной войдут и в ней останутся».

Оговорка оказалась уместной. Ничто не пропало даром. Все увиденное и пережитое на Урале проросло в творчестве — мотивами, образами, ситуациями. В январе он с Егором-объездчиком ездил в тайгу расставлять капканы на рысей и слушал рассказы охотника о повадках хищного зверя, о его необычайной зоркости. Через десять лет эта поездка аукнулась в строфах к поэме о Сергее Спекторском. «Как разом выросшая рысь, Всмотрись во все, что спит в тумане», — это о хищной зоркости поэта. А еще через тридцать лет всеволодо-вильвенская рысь очнулась в варыкинских дневниках Юрия Живаго: «снежную равнину пересекают рысьи следы, ямка к ямке, тянущиеся аккуратно низанными нитками. Рысь ходит как кошка, лапка за лапку, совершая, как ут-

верждают, за ночь многоверстные переходы. На них ставят капканы, слопцы, как их тут называют». Да, так и называют их на Урале — слопцами.

Жизнь уральской глубинки на поверку оказалась разнообразнее и значительней привычных литературных формул об уездовщине. Начиная с мая, Пастернак принял в ней заинтересованное и азартное участие. Он много ездил по окрестностям, побывал в Луньевке, Кизеле, на Березниковском содовом заводе и в Усолье, ездил на Чусовую, несколько раз бывал в Перми. Вникал в производственные вопросы, знакомился с заводским архивом Всеволодских, бывших владельцев Всеволодо-Вильвенского завода, принимал участие в хозяйственных отношениях предприятия, помогая Б. И. Збарскому в ликвидации дел после продажи имения и заводов.

Ландшафт, человеческие типы, имена людей и названия мест, своеобразный уклад жизни, — все, окружившее Пастернака во Всеволодо-Вильве, было новым, непривычным, резко отличалось от ранее знакомого по жизни в центральной России, все залегало в творческой памяти. В итоге Урал, его пространство и люди, стал одним из главных мест художественного мира Пастернака.

Главной пространственной осью, организующей поле нового опыта и впечатлений Пастернака, стала Луньевская железнодорожная ветка. Путь от Перми до станции Чусовской, а потом до Всеволодо-Вильвы (или в обратном направлении) погружал Пастернака в самую гущу уральской жизни. Луньевская ветка проходила по промышленному району. Грозди предприятий висли на каждой станции. Одно из крупнейших производств по отжигу древесного угля близ Усьвы, Губахинские, Кизеловские и Луньевские каменноугольные копи, Кизеловский и Александровский чугуноплавильные заводы, сталелитейный и металлопрокатный Чусовской завод, Коксовальный завод в Луньевке, химические и солеваренные заводы в районе Усолья на Каме, многочисленные рудники.

Жизнь здесь представляла колоритную смесь старозаветных феодальных традиций с капиталистической предприимчивостью и ростками современного глобализма: в этом районе были широко представлены французские и бельгийские акционерные компании, на предприятиях работало немало европейских специалистов. А вдоль линии простирались владения крупнейших землевладельцев и промышленников России с историческими именами — князь С. М. Голицын, наследники князя Н. В. Всеволожского и П. П. Демидова, князя Сан-Донато, князь С. С. Абамелек-Лазарев, графы С. А. Строганов и П. А. Шувалов, княгиня А. А. Голицына.

Луньевская ветка пролегла по одному из самых живописных уголков Урала. Поезд петлял между камней отвесных скал, поднимался на высоту 400 метров над уровнем моря и спускался в глубокие речные долины, проходил горным тоннелем и пересекал несколько рек с непривычно звучащими финно-угорскими именами: Сыльва, Чусовая, Вильва, Усьва, Косьва, Яйва. О живописности Луньевской ветки ностальгически вспоминал в эмиграции Михаил Осоргин: «Я мысленно еду по Луньевской ветке на Урале — и никто меня там никуда не заманивает, никто не кичится красотами природы, которых Швейцария лишь бледная тень». Ассоциации с видами Швейцарии возникали не только у пермяка М. Осоргина. То же сравнение встречается в воспоминаниях Б. И. Збарского, в письмах Пастернака: «А какие здесь пейзажи! Прямо Oberland — но суровой немног». Луньевская ветка — это 196 верст Урала, каким его видел Пастернак и унес в свои произведения. На Урале состоялась его встреча с Россией.

В конце июня 1916 года после поездки на Березниковский содовый завод Пастернак, не заезжая во Всеволодо-Вильву, проехал до Перми, а оттуда махнул через весь Урал по южной ветке Транссиба: Екатеринбург — Челябинск — Уфа — Самара. Из Самары в компании с Надеждой Синяковой на пароходе проплыл до Сызрани, а оттуда поездом в Москву. Лето он провел на даче

с родителями и к осени закончил новую книгу стихов — «Поверх барьеров». Она вышла из печати в конце 1916 года. Пастернак получил ее в декабре в Тихих горах, куда перебрался еще в октябре к Збарским. Он послал ее отцу и с тревогой ждал ответа. Отношение отца было для него высшим судом. В начале января 1917 года Пастернак получил ответ. Письмо Леонида Осиповича не сохранилось, но, что он сказал в нем сыну, ясно по ответу Бориса.

Дорогой papa! Письмо твое привело меня в истинное безумие! Вот все, что я желал! Я так страдал всегда от того, что ты во мне собственных черт своих не видел; что ты мерил меня мерилom посредственностью; что не находя их во мне, жаловался на отсутствие контакта с тобою, меня в этом виня; что называл клоакой то, что воспитало «Барьеры». Я не укоряю тебя, я только рисую тебе картину моей боязливой настороженности перед выходом книги, моего ожидания недовольства с твоей стороны и степени радостной озадаченности моей затем, когда я распечатал твое письмо. Спасибо, спасибо, спасибо. Без конца! Я раза три перечел твое письмо. Ах, это письмо твое! Я им горжусь: письмом академика к футуристу. Ну, это ли не счастье!

Укрощение коня

В мае, когда подсохло, Пастернак стал много ездить верхом по окрестностям Всеволодо-Вильвы. С гордостью почти мальчишеской он писал родителям, как уверенно держится в седле, как неутомим в дальних поездках, как хорошо галопирует: «От Бориса Ильича получу письменное удостоверение в том, что гоюсь в жокеи».

Вообще конь — это одна из сквозных тем Пастернака, его творчества и жизни. Один из его символов. Даже в удлиннном его лице, в больших чуть косящих глазах и пропорциях черт было что-то, напоминавшее очертания благородной конской морды.

Это многие замечали. Ахматова, например: «Он, сам себя сравнивший с конским глазом...». О том же сходстве, но уже с программной заостренностью буквализированного сравнения писала Цветаева: «Внешнее осуществление Пастернака прекрасно: что-то в лице зараз и от араба и от его коня: настороженность, вслушивание, — и вот-вот... Полнейшая готовность к бегу. — Громадная, тоже конская, дикая и робкая роскость глаз...».

У истории отношений Пастернака к верховой езде было драматическое начало — 6 августа 1903 года, день Преображения Господня. Отсюда Пастернак начинал отсчет своей сознательной жизни в искусстве. В этот день он решил отправиться в ночное, в луга, куда каждый вечер гоняли табун деревенские девки. Впечатлительным и художественно настроенным дачникам они напоминали амазонок или валькирий. Зрелище ухода табуна в ночное было настолько захватывающим, что брат Бориса Пастернака, Александр, и много лет спустя вспоминал о нем с неподдельным увлечением:

Удивительно, как эти крестьянки ладно и красиво сидели, без седел и стремян: на необъезженных лошадях, на разных аллюрах, им было так уверенно и свободно скакать, что нетрудно было в то же время что-то друг другу кричать, рассказывая, и весело и громко хохотать! От вихревой скачки их красные, синие и ярко-желтые платки развевались по ветру, а подчас и сползали с головы; тогда волосы, заплетенные в косы, взметывались горгоньими змеями. Их широченные юбки, столь же яркой расцветки, задранные верховым сиденьем, наддувались пузырем от ветра и вились за хозьяйкой вымпелами, как и головные платки. Все плыло и пылало в огне последних лучей солнца, садящегося за нашим бором. Когда, по времени, все потухало, и только вверху еще тлели багровые облака, внизу же все тонуло в синеющей туманности сумерек, зрелище скачущих по полям амазонок становилось волнующе-тревожным — дикос-

тью экспрессии в движении коней, рук и ног всадниц, в движении ветра и облаков, наконец — и это было главным — движении самих красок всей изумительной картины.¹

Мог ли Борис удержаться, чтобы не попробовать и самому испытать этот азарт полета? Никакие призывы к благоразумию не действовали, он уломал родителей отпустить его². Ему дали самую тихую лошадку, и поначалу все шло отлично: Борис сиял торжеством — его мечта сбывалась. Но когда та бун подходил к ручью, где-то раздалось ржанье чужой лошади. Табун словно взбеленился. Повернув за вожакон, конская лава бросилась на призыв. Понесло и лошадку Бориса. Он не справился с вожжами, и на глазах у родителей подросток исчез под копытами мчавшегося табуна.

Ему повезло. Он лишь сломал ногу в бедре. Падение с лошади и перелом ноги не только лишили Пастернака возможности мужественного самоутверждения (освобождение от воинской службы), но и — косвенно — осложнили отношения с отцом. Пастернак, по свидетельству его брата, носил в себе чувство вины: его травма, в которой отчасти был повинен отец, заставила якобы Леонида Осиповича прекратить работу над картиной «В ночное», которая могла стать этапной в его судьбе как художника.

С той поры в Пастернаке подспудно жила тяга к реваншу. Второй раз в жизни он сел на лошадь во Всеволодо-Вильве и взял, наконец, и этот барьер. Сохранилась одна из вильвенских фотографий, запечатлевших его в седле. Пастернак сидит, молодецки подбоченясь, совсем как бывалый кавалерист. Папаха набекрень. Коня под уздцы держит Фани Николаевна Збарская, она нежно гладит его морду. Символическая сцена, говорящая об отношениях мужественности и женственности в терминах овеществленного мифа. Если кратко сформулировать, что произошло с Пастернаком во Всеволодо-Вильве в 1916 году, можно ответить метафорой судьбы: здесь он оседлал коня.

Из опустевшего всеволодо-вильвенского дома (Збарские выехали днем раньше) Пастернак уезжал 23 июня. Он торопился к вечернему поезду до Солеварен. Несколько дней нужно было провести на заводе Любимова и Сольвэ в Березниках, чтобы уладить последние дела по ликвидации имения — проконтролировать отгрузку остатков угля, закупленных содовым заводом, и получить по доверенности деньги. Большинство своих вещей он отправил домой еще неделю назад багажом. В один из ящиков вложил пожелтевшие от времени бумаги из архива Всеволодских — его вдруг заинтересовало одно из дел: как переходили с крепостного труда на вольный. Наказывал родителям, чтобы отнеслись побережней к этим документам — может, пригодятся³. Сейчас, в спешке упаковывая чемодан, неосторож-

ным движением уронил зеркало, лежавшее на комод. Знак был зловещий. Но зеркало чудом не разбилось. Это маленькое событие стало темой последнего стихотворения, написанного во Всеволодо-Вильве:

*Уже в архив печали сдан
Последний вечер новожила.
Окно ему на чемодан
Ярлык кровавый наложило.*

*Перед отъездом страшный знак
Был самых сборов неминуей —
Паденье зеркала с бумаг,
Сползавших на пол грязной кучей.*

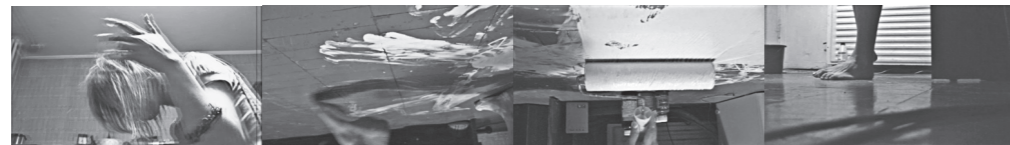
*Заря ж и на полу стекло,
Как на столе пред этим, лижет.
О счастье: зеркало цело,
Я им напутствуем не выжит.*

Примечания:

¹ Пастернак А. Воспоминания. М., 2002. С.137.

² «Мой брат с детства отличался неодолимой страстью овладеть тем, что явно ему было не под силу или что совершенно не соответствовало складу его мыслей и характера» (Там же. С. 138).

³ Судьбы людей после отмены крепостного права станут темой последнего, неоконченного, произведения Пастернака — пьесы «Слепая красавица»



Поэтический видеоарт (видеопоэзия) — синтез поэзии и видео (а также арт-кино, фото, анимации). Видеопоэзия соединяет в себе текст, звук, изображение и движение. В отечественном искусстве родиной поэтического видеоарта стала Пермь, а первым опытом — слайд-поэма «В тени Кадриорга», яркое, зрелищное аудио-визуальное и литературное действо, созданное совместно поэтами Виталием Кальпиди и Владиславом Дрожжащих и видеорежиссером Павлом Печенкиным.

Премьера слайд-поэмы «В тени Кадриорга» состоялась в январе 1982 года на загородной базе «Звездный» в рамках областного семинара творческой молодежи, где ее увидел и высоко оценил московский художник-авангардист Франциско Инфанте Арана. Ассоциативный видеоряд слайд-поэмы создавался всякий раз при ее демонстрации, вручную, в режиме реального времени, специально разработанная для этого технология «жидкого слайда» рождала иллюзию живой и спонтанной визуальной абстракции. По воспоминаниям очевидцев, зрелище «Кадриорга» производило ошеломляющее впечатление.

Мощный энергетический сплав голосов, поэзии, музыки, цветного изображения проникал сквозь фильтры обыденного сознания. Дух свободы и раскованности, пронизывающий все художественное действие слайд-поэмы, невозможно было не ощутить. Позже слайд-поэма неоднократно демонстрировалась в Перми и Москве, а в 1984 году, на волне идеологической борьбы с дискотеками и цветомузыкой, показы слайд-поэмы были запрещены.

В дальнейшем развитие жанра видеопоэзии оказалось тесно связано с использованием видеотехники, компьютерной графики, цифровой анимации и современных мультимедийных технологий, о чем свидетельствуют специальные фестивали, такие как международный фестиваль видеопоэзии «Зебра» (Германия), отечественные «Вентилятор» (Санкт-Петербург), «Зря!» и «Пятая нога» (Москва).

В Перми в 2006 году прошел свой фестиваль поэтического видеоарта — «Белые ночи в Юрятине», представивший творчество рижской группы «Орбита», пермских и питерских режиссеров-видеопоэтов, а также авторские клипы в 3D-анимации Виталия Кальпиди.

Одним словом, видеопоэзия — явление актуальное, сомневаться не приходится. Но что она означает для тех, кто ею занимается? Просто стихи, начитанные на видеоряд? Или нечто большее? Пойдем за разъяснениями к человеку, непосредственно включенному в процесс.

Анна Сидякина, Марта Пакните

Илья Рангулов:

«В кадрах должна быть рифма»

Илья Рангулов — начинающий режиссер, ученик творческой мастерской Павла Печенкина. Снимает короткие ролики, для которых характерна поэтическая образность, скупое словесное сопровождение и динамичный монтаж. Творческая биография пока не очень велика — режиссеру всего двадцать лет. Из «достижений» — награда на всероссийском фестивале «Золотая лента» за короткометражку «Трафарет», в которой визуальная образность сочетается с ритмически организованным вербальным текстом.

— Сегодня мы пытаемся разобраться в определениях. Илья, что такое видеопоэзия?

— На самом деле я понимаю видеопоэзию как ассоциативно-поэтический монтажный ряд — это когда кадр на пересечении с другим кадром непременно вызывает у зрителя какую-то ассоциацию.

— Вообще, совмещение стихов с визуальным рядом довольно распространенная практика.

— Нет, видеопоэзия — это не только лишь когда стихи с видеорядом связаны. Поэзию в кадре можно создать даже просто при помощи монтажа. При помощи монтажа ты можешь в немом кадре, допустим, добавить какой-то звук, в статичном кадре показать динамику. Нет, видеопоэзия не обязательно предполагает соединение видеоряда и стихов. В самом кадре должна быть какая-то рифма. Кадры должны рифмоваться. Это как строчки в стихотворении. И этой рифмы можно добиться как раз при помощи монтажа.

Ты можешь снять, например, ну я не знаю, что банан поспорил с помидором. Ты можешь снять это натуралистично, а можешь

снять это поэтично. Ты можешь снять это одним кадром, а можешь при помощи монтажа добавить смысла, используя такую форму. Видеопоэзия это не что иное, как форма. Разделение на прозу и поэзию ведь происходит именно за счет формы. Точно так же всей поэзии в видеоряде мы добиваемся именно за счет формы.

— Но в твоём «Трафарете» как раз таки ритмизованный текст играет важную роль.

— Там есть слова в начале и в конце. Для меня использование слов в видеоролике говорит только об одном — ты не можешь визуально выразить то, что ты хочешь донести. И это не очень приятно осознавать.

— А если отбросить само это определение. С чего у тебя начинается маленький фильм или ролик? Именно с каких-то слов, идей, со стихов или же с визуального ряда, образов?

— Сначала появляется сверхзадача. У меня пока, так как, видимо, я еще не дорос, эта сверхзадача появляется только тогда, когда у меня что-то плохое происходит в жизни. То есть, допустим, когда я снимал «Трафарет», идея была такова: что все идеи уже использованы и у меня не получится ничего нового. Меня это задевало. И поэтому я снял «Трафарет». Позже мне начало казаться, что и эта идея тоже глупая, потому что она банальная, она изъезженная, она не твоя собственная. Но к этому времени я уже преодолел ее как проблему. А когда я снимал «Диффузию» — в тот момент мне хотелось говорить честно. Это как барьер, который ты переступаешь. Вот проблема и вот способ ее решить. Снимаешь, видишь ее с экрана и понимаешь, насколько это, в принципе, глупая проблема, и как за четыре минуты она решается.

И внутри тебя она тоже решается. Для меня мои ролики — это пока только решение моих собственных проблем.

– Психотерапия получается какая-то?

– Ну да. Это должно быть так. Но это нужно когда-то преодолеть. Художник пишет для себя, писатель пишет для себя. Один. Скульптор лепит с нуля, режиссер создает из того, что уже есть. Кино делается командно. Необходима работа многих людей. И ты уже просто не можешь себе позволить делать это только для себя.

– Но, с другой стороны, ты ведь тоже «лепишь с нуля»?

– Ну тут другое. Я вообще считаю, что максимум, во что может вылиться видеопоззия, это Речной вокзал и выставка вроде «Видения».

– То есть ты считаешь, что это несерьезно?

– Это может быть только стадией для дальнейшего развития. Этим ведь нельзя заниматься всю жизнь. Я хочу снимать авторское кино. По собственному сценарию, который бы сам писал, мучился.

– Ты говоришь, что видеопоззия — это слишком узко и эгоистично. Но ведь и режиссеры авторского кино снимали фильмы о себе и для себя. И через такие, казалось бы, личные частности, показывали судьбы и истории других людей. Так ведь и с видеопоззией. Каждый может увидеть себя. Только там в фокус попадает не вся жизнь, а ситуация, какой-то момент. Немного другой масштаб.

– Когда человек смотрит хороший фильм, он видит там себя, происходит совпадение. А когда я наснимал фигню и люди, которые меня знают, видят там меня, а те, кто не знает меня, вообще ничего не видят... То это глупо. Важно, чтоб после просмотра человек сказал: «да я понял, я тоже

так считаю», или — «я не согласен». А не просто «ну прикольно» или «хорошо сделано».

– Как ты думаешь, действительно для современного человека легче и привлекательнее воспринимать авторскую идею именно через видеоряд или же актуальны и другие средства передачи?

– Есть кино формата 4D. Тебя дергают на кресле и еще брызгают водой. Пускают какие-то запахи. Ну еще изображение. Ну билеты стоят подороже. Но ценности в этом никакой абсолютно нет. Если это действительно ценная работа, то она заденет тебя и без звука и безо всяких спецэффектов. «Броненосец Потемкин» например. Если это действительно шедевр и это актуально во все времена, то никаких спецэффектов и не нужно. В принципе, «Броненосец Потемкин» — ну что там? Ничего вроде особенного, фильм о восстании. Но заявленные проблемы-то не исчерпываются исторической эпохой. Они остаются актуальными, и естественно, что это даже без звука будет задевать.

Понимаешь, есть фильмы хорошие, которые нравятся всем. В них все делается за счет драматургии, и они пожизненно остаются актуальными. Люди, которые пришли, например на «Аватар», — думаешь, их спецэффекты зацепили? Да нет, их ведь именно спектр поставленных проблем зацепил. Конечно, весь фильм сделан по схеме, это понятно. Но люди вынесли из него то, что больше стандартной фабульной схемы — идеологию, ценности, заряд энергии, выраженный в драматургии кадра.

А вот «Кислород», например, — типичная видеопоззия. Все в этом фильме держится за счет формы, а драматургии там, по сути, нет. Потому что видеопоззию нужно не понимать, а ощущать.

Интервью записала Марта Пакните

Критика / Рецензии

Хребет мысли

Алексей Иванов. *Хребет России*. СПб.: Азбука-классика, 2010



Книгу Алексея Иванова «Хребет России», которая, как можно предположить, была написана параллельно или по следам съемок одноименного телефильма, можно читать по-разному: с начала или с конца. Автор этих строк поступил именно так — он прочитал книгу с конца, потому что ему важно было знать: что нового может вот так, концептуально, сообщить читателю автор? Ведь об Урале, этом «хребте России», существует множество научных, документальных и художественных текстов. Казалось бы, чего тут можно добавить...

Но текст Алексея Иванова — нечто особенное. Нельзя не согласиться с аннотацией, помещенной на авантитуле. В ней говорится, что «данная книга — это комплексный культурный

продукт, не имеющий аналогов в современной российской культуре». Действительно, «Хребет России» не имеет литературных аналогов хотя бы в том смысле, что является как бы текстовым вариантом одноименного многосерийного телефильма, который был снят известным тележурналистом Леонидом Парфеновым. Фильм этот был с успехом продемонстрирован на Первом канале ТВ, но книга от этого ничего не теряет, а скорее всего, даже выигрывает.

Не хотелось бы употреблять этот новоизобретенный термин — идент, которым «Хребет России» характеризует издательство «Азбука-классика», но он действительно кое-что объясняет образованному читателю. Впрочем, данное определение не избавляет книгу от опасности, которая ей грозит. Да простит меня автор, но «Хребет России» будут, конечно, чаще и больше разглядывать, чем читать. В этом ее особенность, но в этом же, если хотите, ее потенциальная уязвимость. Книга дает повод с удовольствием проследить за перелистыванием страниц, в то время как ее концептуальная сущность, пронизывающая текст, может ускользнуть от внимания читателя.

Дело в том, что как и все, написанное А. Ивановым, книга открывает нам, и так немало знавшим об Урале, очень многое. Причем, пожалуй, самое главное — она открывает нам с новой стороны самого автора.

В книге «Хребет России» Алексей Иванов предстает перед нами не только как широко известный и чрезвычайно талантливый писатель, но и, что особенно отрадно, как обширно информированный и внимательный культуролог. Соединение литературного таланта с оригинальной культурологической концепцией как раз и позволило создать автору данную книгу, которая, можно сказать, увековечила Урал, преобразила его в социокультурном контексте и выдала его образ для широкого читателя.

Тем, кто еще не знает книги, сообщу: она состоит из четырех разделов: «Герои. Заводы. Мастера. Матрица». Причем, на мой взгляд, именно в формулировке и оттачивании смыслов «Матрицы» с наибольшей силой проявился талант автора. При этом, несмотря на смысловую нагруженность текста, книга читается легко, тем более, что в ней около шестисот фотографий. Они, если

можно сказать, разбавлены текстом. Но каким!

Здесь Алексей Иванов в лаконичных и точных формулировках передает нам то, что он очень хорошо знает и любит. Наверное, нелегко было, подстраиваясь под формат книги, насыщенной великолепными большеформатными фотографиями, создать более ста коротких очерков, посвященных истории, географии и этнографии Урала. Но зато заданная лаконичность позволила автору избежать велеречивости и сказать, по известной формуле, «мало, но хорошо». Сказать главное — отчетливо и ясно.

Перед нами, благодаря Иванову, сначала появляются герои: Ермак, Трифон Вятский, Симеон Верхотурский, Стефан Великопермский, Артемий Бабинов и другие, вписавшие свое имя в историю Урала. Затем перед читателем предстают заводы, всегда определявшие индустриальное лицо Урала, и мастера, подарившие этим заводам славу своим талантом и трудом. И через все эти образы проходит и объединяет их «местный комплекс представлений», который автор и называет «уральской Матрицей».

«Матрица, — пишет Иванов, — набор характерных способов существования, которые актуальны здесь всегда. Набор оправданных опытом стратегий поведения, личного и общественного. Набор параметров местной идентичности». Этот набор

и определяет, по мысли Иванова, величие и драматизм судьбы Урала.

Вот, скажем, выбор, который делает Ермак. Перейдя Урал и открыв для русского царя дорогу в Сибирь, он, пишет автор, «выбрал не награду, а царскую службу, то есть неволю». Через сто с лишним страниц, впитавших несколько веков истории, Иванов возвращается к данной мысли: «Лес, реки и руда — главный ресурс заводов. А неволя работников — главный ресурс горнозаводской державы... По Манифесту рабочие должны получить от заводчика землю. Но зачем заводчику хлеб, который вырастят рабочие? Ему нужны лес и руда. И рабочие не получают ничего. Урал прочно застрял в колее Матрицы, как телега в канаве».

На новом витке истории, уже в XX веке, события, подчиняясь законам Матрицы, повторяются, хотя и несколько по-иному: «Главный ресурс, — пишет автор, — определил еще Акинфий Демидов: люди. Формат — неволя. На Урале тюрьма совместились с производством, и родился ГУЛАГ. За три года до Беломорканала».

А завершился XX век еще одним возвратом все к той же Матрице: после победного окончания Великой Отечественной войны Урал, пишет автор, «остался в клетке». Этой клеткой оказалась крайняя милитаризация Уральского региона. На Урале появились «атом-

ные города» — закрытые даже для своих граждан Златоуст-36, Свердловск-45, Челябинск-70 и другие, где шла работа над атомными проектами.

Так вновь проявилось коренное, неизбывное свойство Урала быть особой державой в державе. «Только здесь, за колючей проволокой, — справедливо подчеркивает А. Иванов, — тайком от страны и народа построен настоящий социализм: с творчеством, с достатком, с демократией».

За все это Урал платит дорогую цену: «В 1969 году десять подземных ядерных взрывов потрянули уральский север и окрестности города Оса: так партия и правительство выбивали из пластов в пробуренные скважины нефть». А затем в 1971 году был утвержден чудовищный по масштабам и конечному эффекту проект «Тайга»: 250 подземных атомных взрывов должны были прорыть гигантский канал и соединить Каму с Печорой. Но, пишет автор, «взорвали только два заряда. Их хватило, чтобы обезлюдели берега застывшего северного Чусовского озера».

Кроме того, Урал исхитрился учредить еще одну державу в державе — зону в зоне. «Эта держава, — напоминает Иванов, — состояла из трех лагерей. По неосознанной аналогии с «атомными городами» их называли Пермь-35, Пермь-36 и Пермь-37. Здесь на излете советской эпохи сидели «политические»

зэки». Их уделом, подчеркивает автор, была все та же бессмысленная, но очень характерная для Урала работа ради неволи. Кстати, последний зэк вышел отсюда по историческим меркам совсем недавно: в 1988 году.

Еще одна держава в державе появилась, по мысли автора, в Башкирии. Но ее жизненным ресурсом были уже не люди, а нефть. «Переработка превращала нефть в чистое золото, — пишет Иванов. — На этом ресурсе в 1992 году, в эпоху сепаратизма, Башкирия стала очередной уральской державой в державе — Республикой Башкортостан».

Так, на разных примерах, на разных исторических

эпохах и на разных этносах прослеживаются автором закономерности уральской Матрицы, в формах которой выплавляется и кристаллизуется прошлая, современная и, видимо, будущая жизнь Урала. При этом читателя не может не впечатлить широта и глубина проработки темы — во времени и пространстве. От северного поселка Ныроб — до древнего Аркаима, лежащего в степях Южного Урала, от башкирского Приуралья на западе — до вполне сибирского Тобольска, примыкающего к Уралу с востока — такова география книги. А по времени повествование охватывает почти пятьсот лет — от первых походов

Ермака до первого десятилетия XXI века. И все это объединено красивой оригинальной концепцией, глубиной авторской мыслью.

Данная культурологическая концепция, опирающаяся на широчайший историографический материал, могла бы сделать честь любому ученому. Но перед нами — книга, принадлежащая перу писателя. И поэтому историософия и культурология — это лишь хребет мысли, которая объединяет богатый разнородный материал и делает книгу интеллектуально насыщенной, чрезвычайно интересной и действительно достойной пера такого глубокого и талантливого автора, как Алексей Иванов.

Владимир Пирожников

Поиски подлинности

Виталий Кальпиди. *Контрафакт: книга стихов и поэтических римейков*. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2010



«Не было нормальной мотивации, чтобы эту книгу написать. Пришлось эту мотивацию выдумать. Так появились римейки, которые, разумеется, таковыми не являются...» — объясняет автор во вступлении. Уже сам факт объяснения мотивации интересен. А то, что автором является Виталий Кальпиди, которому принадлежат высказывания «замысла у текста не было» или «стихотворение вынырнуло из допроявленности чисто: без позора внешних

мотивировок», — интересно вдвойне.

Взаимоотношения римейков и «оригинальных» текстов Заболоцкого, Тютчева, Мандельштама, Пастернака и Бродского во многом неоднозначны. Сам автор, употребляя для их определения слово «римейки», подчеркивает его условность: «Может быть, эти тексты стоило назвать «контримейками» или, скажем, банальной полемикой, спровоцированной желанием автора прослыть небаналь-

ным. А можно — и загримированным плагиатом».

Однако это не пародия: автор неоднократно упоминал о своей эстетической и/или духовной близости с поэтами, чьи стихи он берет за основу для римейков. И в то же время эти стихи, действительно, похожи на пародию. Вот, к примеру, римейк к стихотворению «В деревне Бог живет не по углам» Бродского. Заимствуя стихотворный размер, Кальпиди наполняет ее своим собственным, богохульнически-богоборческим содержанием: «...и сам себе, поморщившись капризно, бог внутривенно делает укол проверенным снотворным атеизма».

Эти тексты не могут быть и «загримированным плагиатом» — уж слишком стихи Кальпиди отличаются от источников-оригиналов. Почти в каждой строчке сквозит нечто «кальпидиевское». Его несколько детская манера составлять слова в «наилучшем порядке»: «и нянечка делала матриархат, умея ругаться и топтать». Искусная аллитерация: «там с кашей во рту шепелявят букашки, гуляя по белой и розовой кашке», «мы топчемся на пашне рукопашной». Избыточные неологизмы: «а дождь вытягивал струи, как выи, соструив мне шесть выразительных рож». «Ритуальное обрядорядство» в виде скобок: «тут слишком широко глаза у бога расставлены (почти как у щеглят)».

Сама стилистика «каль-

пидиевских» текстов здесь видна особенно отчетливо — во многом благодаря контрасту между римейками и оригиналами. Но главное, что различает и в то же время объединяет их, — город Еманжелинск. Это небольшой городок, находящийся в пятидесяти километрах от Челябинска с населением около 30 тыс. человек (название, кстати, переводится примерно как «плохая речка»). Одним словом, Кальпиди разыгрывает свой поэтический спектакль на провинциальной сцене: берет «программные» тексты известных поэтов и, основываясь на них, рассказывает про Еманжелинск.

Кальпиди преобразует источники-оригиналы: делает «центральные» тексты текстами «опровинциальными». Парадокс: для Кальпиди важнейшей чертой провинциальной литературы, «голосов провинции», является способность меняться, то есть возможность быть свободной. При этом свобода автора изначально ограничена «вторичностью» текстов — взяв за основу стихотворения других поэтов, он сам себе устанавливает некие «рамки». И эти «рамки» ничуть не мешают ему оставаться одним из «голосов провинции».

Создание поэтических римейков — словно взгляд на уже существующий текст с точки зрения провинции, «перерождение» текста в новое (в случае со стихотворениями Заболоцко-

го, Мандельштама, Тютчева и др.) или концентрация смысла и замысла (в случае со стихотворениями самого Кальпиди, к которым он тоже создает римейки). Римейки на стихи из книги «Контрафакт» проговаривают почти все основные идеи сборника:

*«И было это произнесено
в еманжелинском
поселковом храме:
«Над нами бога нет уже
давно,
но ангелы еще парят
над нами...»*

*«Настали деньги.
Ими в оборот
накопленный с процентами
в избытке
запущен нумерованный
народ...»*

*«Что будущее может
за спиной
у нас построить
прошлое — известно.
Поэтому он —
всему виной...»*

Сборник, конечно, не состоит из одних только римейков. Но именно они — центральные произведения сборника, как римейк на стихи из «Контрафакта», — центральный среди римейков. И именно соотносимость «контрафактных» стихов с их собратьями-источниками заслуживает пристального внимания — как «столичного», так и «регионального».

Мария Курочкина

Под контрабандным полумесяцем

Андрей Санников. *Луна сломалась: книга стихов.*

Нижний Тагил: Контрабанда, 2009



Особенности новой книжки екатеринбургского поэта Андрея Санникова бросаются в глаза, стоит только взять ее в руки. Определим их как попытку с помощью клоунады, дизайнерской эквилибристики и разного рода мистификаций отвести досужее читательское любопытство от контрабандной по способу трансфера, но совершенно подлинной по своему происхождению, поэзии.

«Легкие стихи» — такой подзаголовок обнаруживаем мы на черно-белой обложке, украшенной фотопортретом луны и загадочным названием «Луна сломалась». Во встроеном в книжку фрагменте мастерски сфабрикованного и почти настоящего интервью с автором обнаруживаем объяснение: легкие стихи, потому что «устроены очень, очень просто». «Стихотворения у меня, — продолжает автор, — как жилище у бомжей. Из каких-то палок, булыжников, обрывков полиэтилена».

Этот принцип создания текста продемонстрирован, например, в стихотворении «Свалка», где «в небе вместо разных облаков/немного целлофановых кульков». Однако когда удается занырнуть поглубже, складывается впечатление, что сломанная луна в названии — это самое что ни на есть традиционное отражение в зыбкой, дрожащей, искрящейся водной поверхности, подобно ей восприятие Санникова выхватывает самые необычные детали изображения. Благодаря цепляющим, загромождающим сознание деталям, читатель действительно по прочтении текста «ошибается дверью и шалеет от этого». Однако, пробираясь в ошалении между стихотворными строками, чувствуешь, что запатентованная автором «легкость стихов» — это легкость и естественность их рождения. Автор не мучился Словом, органично выдыхая строки. Те, что описывают Его мир, напоминая строчки личного дневника:

*«белесая зима невмоготы
украина съедобные кусты
все время непонятно
что за свист
лимонно-желтый как бы
сверху вниз
где ты жила? Где я тебя
любил?»*

*Челябинск или кажется
Тагил».*

Еще одно почти настоящее интервью с Санниковым обнаруживается на «вшитой» в книгу почти настоящей странице газеты «Химик» далекого советского 1965 года. Удивительная газета, где заголовки в духе «Дневник социалистического соревнования» и «Рукоплещем героям космоса» неожиданно дополняются строками сонета «Русская натуральная школа» (автор нам уже известен):

*«В каком-нибудь измученном
кино
где Салтыков-Щедрин
глотает вату
и плачет как стеклянное
окно
от жалости и ненависти
к брату —
есть двадцать пятый кадр.
Он виден но
несознаваем...».*

По прочтении этих строк неожиданно начинаешь верить в то, что действительно находишься под воздействием 25-го кадра. Видим, но «несознаваем». Нет, наоборот — почти невидимо сквозь медийную шелуху, но ощутимо подкоркой: магия Санникова завораживает не вдруг, но безотчетно и неотвратимо.

Книжка заканчивается неожиданно быстро — в ней

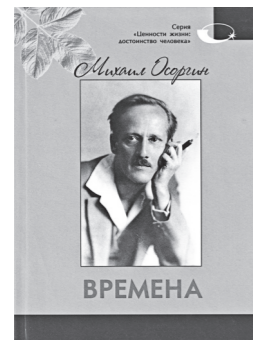
чуть больше пятидесяти стихотворений. В сбивчивых фразах проговаривается в фоновом режиме множество тем — любовь, одиночество, прочтение водяных знаков на Луне, жизнь после смерти. Эти стихи плотно населены персонами хрестоматийными (Наполеон, Блок, Гумилев, Че, Бажов, Петипа) и живущими где-то неподалеку — алкоголик Петр Ливнев, возлюбленная

Марина, житель района хрущевок Коля Щеклда, скинхед Петров. В этих стихах пятью органами чувств ощущаема точность и выпуклость детали:

*«Стакан чуть дребезжит о подстаканник.
И запах — от изнанки скорлупы,
От кипятка и каменного угля.
Дождь все фонит»...*

«Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции»

Михаил Осоргин. *Времена*. Пермь: Книжная площадь, 2009



Пермь плохо знает Михаила Осоргина. Хотя никто и никогда не писал об этом городе столь поэтично и возвышенно. Издательство «Книжная площадь» внесло свою малую лепту в возвращение русского писателя на родину, выпустив его роман «Времена».

Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) родился в Перми в 1878 году в родовитой, но обедневшей семье. Иль-

ины — род, ведущий свою родословную от Рюрика. Здесь прошли его детство и юность.

Он так писал о Перми: «Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием, сыном земли и братом любого двуногого».

Осоргин называл себя приверженцем «осмеян-

Весомая осязаемость, точность и выпуклость образа — эти почти улики, просочившиеся сквозь попово-таможенные декларации, документируют факт: стихи настоящие.

А Луна сломалась — потому что... Помните, как у Набокова: «несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной».

Татьяна Наумова

ного ордена русских интеллигентных чудаков». Он принадлежал к тем людям, которые превыше всего ставили независимость души, независимость внутреннего мира, полагая это самой высочайшей нравственной ценностью. Его считают одним из самых порядочных людей русской литературы. Человек тонкой и мягкой души, изящной натуры, он был изящен во всем: в быту, в повседневной жизни, в общественной и литературной деятельности.

Михаил Андреевич был организатором и первым председателем Союза журналистов России, заместителем председателя Союза писателей России. В 1922 году Осоргина выслали из России. Последние 20 лет жизни он провел во Франции.

В 1940 году бежал из Парижа, спасаясь от преследований фашистов, его имя, как видного масона, было в расстрельном списке. Умер и похоронен в Шабри (Франция) 27 ноября 1942 года.

Во вступлении к роману «Времена» Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае, написала: «Замысел серии «Ценности жизни: достоинство человека» состоит в том, чтобы представить достойного человека, который своей гражданской позицией вызывает уважение окружающих, который своим творчеством оставляет заметный след в сознании читателя, заставляет его задуматься над смыслом жизни. Этими двумя критериями определялся выбор автора, нашего земляка, бесконеч-

но преданного своему Отечеству, человека с острым взглядом на происходящее, обладающего удивительным чувством времени, угадавшим будущее целой страны и ее народа, умеющего выделить то поистине ценное, что в суете буден мы обычно не замечаем».

Человек выше, чем любая власть, но в том случае, если он ощущает себя частью своей страны, своего народа. Россия не раз переживала значительные изменения в своей системе. И человеческий долг, а зачастую и подвиг, состоит в том, чтобы не растерять чувство родины, понимание себя как гражданина. Жизнь и творчество Михаила Осоргина — это некий урок всем нам, побуждающий к размышлениям о выборе.

Тексты Михаила Андреевича будоражат сознание, дают надежду и веселят сердце, говорят о том, что самый большой судья для человека — он сам, что в самой малой малости можно познать мир и удивиться его красоте.

Роман «Времена» пронизан восхитительной любовью к людям и природе. Он дает ощущение свободы и веры в себя как в человека и гражданина. В этой книге нет никаких границ между прошлым и сегодняшним днем, между писателем и читателем. Писатель берет читателя за руку и ведет в те лучезарные дали, где можно найти ответы на мучительные и давние вопросы. Он объясняет, что самое большое счастье жить на родной земле, которая прекрасна как никакая другая.

Ирина Артемова

Езжалый путь

Юрий Асланьян. *Печорский тракт*. Пермь: Студия «ЗеБРА»; некоммерческая организация «Странник», 2010



Поэтический сборник Юрия Асланьяна «Печорский тракт» посвящен памяти рано ушедшего из жизни пермского поэта Арсения Бессонова. В книгу вошли стихотворения, написанные в 1970–2000 годы, эссе от автора «О волшебстве», его перевод на английский язык «About the Magic» и аудиокompact-диск с авторским чтением и музыкой Ольги Викторовой. Таким образом,

перед нами сплав авторской позиции («О волшебстве»), позиции лирического героя (стихотворения) и современной авангардной музыки с ее добавочным, last but not least, измерением.

Место действия — берега Вишеры, ссыльный Север, Урал; время действия — с 1970-х по настоящее время. Четыре десятка лет жизни автора уместились в четырех разделах книги — 1970-е,

1980-е, 1990-е и 2000-е годы. Сквозь опыт поколения, молодость которого пришлось пережить на 1970–1980-е годы, проступает извечная человеческая тоска по норме. Романтические настроения и доверие окружающему миру сменялись удивлением и разочарованием. Мы тянулись к людям, но наталкивались на искаженные пространства их душ. Будучи искривленными сами, мы искали честность, надежность и чистоту. Нашей опорой стали друзья и книги. Через разрывы связей с предшественниками, с их духовным опытом, через разломы времен мы пытаемся нащупать почву под ногами и воссоздать собственные основания происходящего. Об этом — стихи Юрия Асланына.

На «территории Бога» нет места несущественному. Здесь человек перманентно хранит память о рае. В зрелые годы эта память

чаще всего ассоциируется с детством, с друзьями, с высокими и внешне беспричинными состояниями. Эта память имеет вкус, имеет звук и проявляется как тоска по должному, как ощущение разрыва между наличным собственным состоянием и должным. Одиночество — участь тех, в ком эта память жива. Наш удел — одинокие состояния, из которых не вырваться и которыми мы дорожим. Острее всего они ощущаются рядом с близкими людьми, с друзьями. Нет уныния, но есть сила вновь и вновь генерировать эти состояния и удерживать их той или иной формой аскезы. Аскеза поэта зачастую отличается от аскезы праведника, но так же служит главному — стабилизации главных инстанций человека. И об этом — стихи Юрия Асланына.

О главных вещах наиболее действенно говорить

не напрямую, а через намек, образ, посредством кружения вокруг этого главного, навевая и индуцируя смыслы и качества. Более всего для этого подходит язык современной поэзии и музыки, который позволяет вырвать человека из суеты и банальности, повернуть к его собственному трагическому положению, к недопрожитому, недолюбленному, недопонятому, предложить разгадать самого себя и сформулировать собственные смыслы. О главном и помочь в главном могут стихи Юрия Асланына.

Печорский тракт — древняя дорога, ездальный путь, по которому гонимые петровскими реформами староверы уходили на восток. Они бежали от общества, от его норм и иллюзорных ценностей и искали возможность жить по своему уставу. «Печорский тракт» — поэтический сборник русского поэта Юрия Асланына.

Александр Бабушкин

Авторы номера

Владимир Абашев родился в 1954 году в селе Новичиха Алтайского края. Окончил Пермский университет (1978), доктор филологических наук, профессор. Заведующий кафедрой журналистики ПГУ. Глава фонда «Юртин». Член попечительского совета пермского Музея современного искусства PERMM. Автор книги «Пермь как текст» (Пермь, 2000, 2008). Как критик публиковался в журналах «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Уральская новь», «Новое литературное обозрение» и др.

Антон Бахарев-Чернёнок родился в 1980 году в Губахе. Учился в Таганрогском пединституте по специальности учитель русского языка и литературы, но не окончил. Победитель международного фестиваля поэзии «Синани-Фест-2009» (Ялта). Печатался в журнале «Знамя». Живет в Перми.

Роберт Белов родился в 1932 году в селе Карачелка Курганской области. Учился на юридических факультетах ЛГУ (1951) и ПГУ (1956), но не окончил. Работал в пермских газетах (1956–1961), редактором в Пермском книжном издательстве (1961–1992). Печатается как прозаик с 1961 г. Автор книг «Я бросаю оружие» (Пермь, 1992), «Бег в золотом тумане» (М, 2000), «Сердце Дьявола» (М., 2000), «Война в «Стране Драконов» (М, 2000), «Тени исчезают в полночь» (М, 2000). Живет в Перми.

Семен Ваксман родился в 1936 году в Ставропольском крае. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (1959). Автор книг «Лик земли» (Пермь, 1967), «Златые горы» (Пермь, 1989), «Условный знак» (Пермь, 1991), «Дым» (Пермь, 1999), «Я стол накрыл на шестерых» (Пермь, 1999), «Путеводитель по Юртин» (Пермь, 2005). Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Уральская новь», альманахе «Третья Пермь» и др.

Владислав Дрожанин родился в Перми в 1952 году. Окончил филфак ПГУ (1977). Работает в пермских газетах (с 1980). Сотрудник газеты «Профсоюзный курьер» (с 1999). Участник Первого Всесоюзного фестиваля поэтических искусств «Цветущий посох» (Алтай, 1989). Автор книг стихов «Небавоскресенье» (Пермь, 1992), «Блупон» (Пермь, 1992), «Твердь» (Челябинск, Пермь, 2000), «Рифейские строфы» (Пермь, 2004). Печатался в журналах «Юность», «Урал», «Несовременные записки», «Знамя», «Уральская новь». А также в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология современной уральской поэзии».

Алексей Евстратов родился в 1974 году в Перми. Учился на филфаке ПГУ. Работал грузчиком, санитаром в психиатрической клинике, сторожем, консультантом по рекламе и PR. Публиковался в журналах «Знамя», «Урал», «День и ночь», альманахе «Литературная Пермь» и др.

Иван Козлов родился в Перми. Учился в ПГУ по специальности «Журналистика». В 2008 году был принят в товарищество поэтов «Сибирский тракт». Печатался в журнале «Шпиль», альманахе «Время перемен» и интернет-изданиях.

Владимир Кочнев родился в 1983 году в городе Чайковском, Пермский край. В 2000 году переехал в Пермь. Учился в ПГУ на филфаке. В 2004-м поступил в Литературный институт имени Горького, творческий семинар Э. Балашова — А. Тиматкова. Публиковался в журнале «Арион», участвовал в Международном фестивале верлибра (2007). Публиковался в альманахах и журналах «Арион», «Урал», «Топос» и др.

Сергей Крюков родился в Перми в 1970 году. Публиковался в журнале поэзии «Арион». В 1997 году вышла книга стихотворений «Граница дня» (Пермь, 1997). Автор текстов песен для пермских рок-групп «Фокс-бенд», «Вершина всего», «Ансамбль молодежной музыки», «Абрам Пятница» и др. С начала девяностых под псевдонимом Сергей Стаканов и Serge Hookmap выступает как художник. Активно работает в жанре концептуального комикса.

Роман Мамонтов родился в 1971 году в Перми. Окончил строительный факультет Пермского политехнического института. Был участником ансамбля «Музыка народов Нагорья». Финалист всероссийского литературного конкурса памяти Ильи Тюриня. Публиковался в журнале «День и ночь» (Красноярск), альманахах «Илья» (Москва) и «Литературная Пермь».

Любовь Мульменко родилась в Перми. В 2008 году окончила филологический факультет Пермского университета, в 2009-м курсы арт-журналистики института Pro Arte (Санкт-Петербург). Как драматург принимала участие в документальном проекте «Живому театру живого автора» (Киров, 2009), лаборатории в Ясной Поляне (2009), фестивале «Любимовка» (Москва, 2009), семинаре театра Royal Cort (Москва, 2010). Для кировского Театра на Спасской написала новеллу «Дети аммиака» (спектакль «Так-то да», премьера — в июне 2010 года).

Марта Пакните родилась в г. Соликамске, Пермский край. Учится в ПГУ на филологическом факультете по специальности «Журналистика». Публиковалась в интернет-изданиях. Известна как художник, принимала участие в фестивале «Живая Пермь».

Анна Пепеляева родилась в 1987 году в Перми. Окончила филфак ПГУ по специальности «Журналистика». Студентка Литературного института им. Горького. Публиковалась в журналах «Культура и время», «Уральский следопыт», «Московский вестник», «Российский колокол», альманахах «Литературная Пермь» и «Чаша круговая», сборнике «Современники». Автор книг стихотворений «Снежности», «Обстоятельства места».

Наталья Сова родилась в 1970 году в Перми. Окончила Пермский институт искусств и культуры и Высшие литературные курсы в Москве. Работает преподавателем музыки, концертирующий музыкант. Печаталась в журналах «Фантом» (2001), «Лавка фантастики» (2002) и в сборнике «Новые писатели» (2003). Автор книг «Королевская книга» (М, 2005), «Счастливые» (Пермь, 2009).

Дарья Тамирова родилась в г. Мантурово Костромской области. В 2004 году закончила факультет современных иностранных языков ПГУ. Работала переводчиком, преподавателем немецкого языка, журналистом. Публиковалась в журнале «Дети Ра», альманахе «Время перемен». Участвовала в фестивалях «Камский анлим», «Словонова». Автор книги стихов «Тише воды» (М., 2007).

Поддержка проекта была осуществлена Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

Вещь: литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2010. — 124 стр.

Редактор:
Павел Чечёткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Издатель:
Борис Эренбург

Редакционная коллегия:
Владислав Дрожжих
Алексей Евстратов
Владимир Киршин
Анна Сидякина

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Дарья Блажко

Корректурa:
Галина Норкина

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу senator@permplanet.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator@permplanet.ru

Отпечатано в ООО «Типограф», г. Соликамск, Соликамское шоссе, 17

Тираж 250 экз.

© «Вещь», 2010
© Авторы, 2010
© Издательство «Сенатор», 2010

Когда **звезды** не жмурятся **Мама** Мой беззащитный мир
Лесопильня.ru **Земская** неделя Оставь
красоту **нетронутой** Алкогольные **новеллы** **Протон** —
Падучая звезда **Последние** стихи **Первая** смерть
Раскованный голос В кадрах **должна** **быть** рифма
Рецензии